

Сластена

Автор:

Иэн Макьюэн

Сластена

Иэн Макьюэн

Внутри сферы. Проза Иэна МакьюэнаИнтеллектуальный бестселлер

1972 год. Холодная война в разгаре. На Сирину Фрум, весьма начитанную и образованную девушку, обращают внимание английские спецслужбы. Им нужен человек, способный втереться в доверие к молодому писателю Томасу Хейли – он может быть им полезен. Сирина идеально подходит для этой роли. Кто же знал, что она не только начитанна, но и влюбчива и ее интерес к Хейли очень скоро перестанет быть только профессиональным...

Иэн Макьюэн

Сластена

Кристоферу Хитченсу

1949–2011

Если бы только я встретил на этом пути хоть одного безусловно злого человека.

Тимоти Гартон Эш. «Досье»

Ian McEwan

SWEET TOOTH

Copyright © 2012 by Ian McEwan

© Голышев В., перевод на русский язык, 2014

© Дадян М., перевод на русский язык, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

1

Зовут меня Сирина Фрум (почти сирена). Примерно сорок лет назад я выполняла секретное задание британской контрразведки. Миссия провалилась. Через полтора года после поступления на службу меня раскололи, и я покрыла себя позором, попутно разрушив жизнь любовника, хотя в этом была и его вина.

Не стану долго рассказывать о годах детства и юности. Я – дочь англиканского епископа; мы с сестрой выросли в епископском доме близ большого собора, в очаровательном городке на востоке Англии. В доме царили радушие, чистота, порядок и книги. Отношения между моими родителями были вполне приятными, они любили меня, а я их. Я старше моей сестры Люси на полтора года, и хотя мы отчаянно ссорились в детстве, это не испортило наши отношения и, повзрослев, мы сблизились. Отцовская вера в Бога была тихой и разумной, не слишком нависала над нашей жизнью и позволила отцу беспрепятственно продвинуться в церковной иерархии, причем одним из преимуществ его сана стал наш уютный дом времен королевы Анны. Окнами дом выходил в огороженный сад со старыми травяными бордюрами, которые всегда ценились знатоками растений. Короче говоря, жизнь устойчивая, достойная зависти, почти идиллическая. Мы выросли в затененном саду, со всеми удовольствиями и ограничениями, что такая жизнь налагает.

Шестидесятые годы разнообразили, но не нарушали порядок нашего существования. Я пропускала школу, только если болела. Уже вполне взрослой девушкой я познала проникшие через садовую изгородь улады – обжималась (как это тогда называли) с парнями, а также провела опыты с табаком, алкоголем, чуточку – с гашишем, познакомилась с рок-н-роллом, яркими красками и атмосферой всеобщего доброжелательства. В семнадцать мы все были мятежниками – робкими и восторженными, но не забывали об уроках – заучивали и изрыгали неправильные глаголы, уравнения, мотивы литературных персонажей. Нам нравилось думать, будто мы – дрянные девчонки, но, вообще-то говоря, мы были вполне приличными. Мятежный дух шестьдесят девятого пришелся нам по душе. Он был неотделим от ощущения, что вскоре все мы покинем отчий дом, чтобы разъехаться по колледжам. Итак, в первые восемнадцать лет жизни со мной не случилось ничего странного или страшного, и поэтому я их пропускаю.

Будь моя воля, я бы выбрала ленивый факультет английского языка и литературы в каком-нибудь провинциальном университете, далеко на севере или на западе Англии. Мне нравились романы. Читала я быстро – могла проглотить две-три книги за неделю – так что три года за чтением романов вполне соответствовало бы моему характеру. Но для того времени я была «чудом природы» – девушкой с математическими способностями. Математика не слишком меня увлекала, почти не доставляла мне удовольствия, но мне нравилось быть первой, причем без особого труда. Я знала ответы на задачи, даже не понимая, как я до них дошла. Тогда как мои одноклассники тужились и бились в расчетах, я достигала решения посредством нескольких плавных шагов, отчасти интуитивных. Мне было бы сложно указать на источник своего знания. Разумеется, экзамен по математике требовал от меня гораздо меньше усилий, чем экзамен по английской литературе. К тому же в выпускном классе я была капитаном школьной сборной по шахматам. Нужен определенный полет воображения, чтобы понять, с каким изумлением взирали в те годы на девицу, приехавшую в соседнюю школу и сбившую там с жердочки нахохлившегося шахматного чемпиона. Однако математика и шахматы, равно как и хоккей, плиссированные юбки и пение псалмов, относились, в моем восприятии, сугубо к школьным занятиям. Я предполагала, что, раз уж я собралась в университет, мне следует отставить все детские забавы. Однако в своих предположениях я не приняла в расчет собственную мать.

Она была воплощением (или пародией) жены викария, затем епископа: потрясающая память на имена и лица прихожан, на их сетования и жалобы, манера неспешно, с достоинством прогуливаться по улице в развевающемся на

ветру шарфике от «Эрмес», доброта и непреклонность в общении с прислугой и садовником. Безупречность и очарование по любым меркам, в любых обстоятельствах. Как ей удавалось разговаривать на равных с женщинами из городских кварталов – заядлыми курильщицами с напряженными лицами, – которые приезжали в действовавший при церкви клуб «Мать и дитя». Как убедительно она читала рождественскую сказку детям Барнардо[1 - Подразумеваются «Барнардовские приюты» – приюты для беспризорных и бездомных детей, названные в честь их основателя Томаса Барнардо.], собравшимся на ковре у ее ног в нашей гостиной. С каким тактом и достоинством она встречала архиепископа Кентерберийского, приглашенного к нам в дом на чай с печеньем после освящения в соборе реставрированной крестильной чаши, как ухаживала за ним. Люси и меня отослали на время визита наверх. А еще – вот оно, подвижничество – совершенная преданность и служение делу моего отца. Она поощряла его, служила ему, облегчала его труд на каждом повороте жизненного пути. Забота ее обнимала все – штопанные носки и выглаженный стихарь в платяном шкафу, безукоризненно убранный кабинет и глубочайшее субботнее молчание, повисавшее в доме, когда отец писал проповедь. Взамен она требовала – это моя догадка, конечно, – только того, чтобы он любил ее или, по крайней мере, никогда не оставлял.

Однако я долго не могла различить в характере матери камушка феминизма, скрывавшегося под ее вполне традиционной наружностью. Уверена, что мать ни разу не произнесла само это слово, но это не имеет значения. Ее категоричность меня пугала. Она говорила, что моя обязанность как женщины состоит в том, чтобы отправиться в Кембридж и поступить на факультет математики. Как женщины? В то время в нашей среде никто не говорил такими словами. Ни одна женщина не поступала так, «как следует женщине». Она говорила, что не позволит мне растратить свой талант. Мне предстояло проявить себя, стать необыкновенной. Сделать карьеру в инженерном деле или экономике. Весь мир у твоих ног – такие вот банальности. По отношению к моей сестре было несправедливо, что я была и умной, и красивой, тогда как она не блистала ни внешностью, ни талантами. Несправедливость только усугубится, если я обману надежды матери и не стану ставить перед собой высокие цели. Логика высказываний от меня ускользала, но я предпочла промолчать. Мать сказала, что никогда не простит ни мне, ни себе, если я ограничусь английской словесностью и стану домохозяйкой, лишь на йоту более образованной, чем она сама. Мне грозила опасность растратить свою жизнь. Ее слова были равнозначны признанию. Тогда, в первый и последний раз в жизни, она выразила при мне, прямо или косвенно, разочарование своей участью.

Потом она подключила к делу отца – «епископа», как называли его мы с сестрой. Вернувшись однажды днем из школы, я узнала от матери, что он ждет меня в кабинете.

В зеленом блейзере, вышитом геральдическим гербом и девизом *Nisi Dominus Vanum* («Если Господь не созиждет дома»), я уныло развалилась в клубном кожаном кресле, между тем как отец, возвышаясь над столом, перебирал бумаги, мурлыкал что-то себе под нос, вероятно, приводя в порядок мысли. Мне казалось, что он собирается пересказать мне притчу о талантах, но вместо этого отец перешел прямо к делу. Он навел справки. Кембриджский университет стремился показать, что «открывает двери в современный эгалитарный мир». Учитывая бремя тройного несчастья – превосходная школа, девушка, преимущественно «мужской предмет», – поступление было мне почти гарантировано. Если, однако же, я намеревалась поступать в Кембридж на английскую литературу (такого намерения у меня не было; епископ никогда не вдавался в подробности), мне придется гораздо труднее. Уже через неделю моя мать переговорила с директором школы. Подключились учителя-предметники, чьи аргументы повторяли или дополняли доводы родителей, и мне, конечно же, пришлось уступить.

Так мне пришлось отказаться от литературных штудий в университете Дарема или Аберистуита, где я наверняка была бы счастлива, ради Ньюнем-колледжа в Кембридже, где уже во время первого семинара, состоявшегося в Тринити-колледже, мне показали, какая я посредственность в математике. В осеннем триместре я впала в депрессию и разве что не бросила учебу. Неуклюжие парни, лишённые очарования и других человеческих качеств, таких как сострадание и порождающая грамматика[2 - В рамках подхода порождающей грамматики формируется система правил, при помощи которых можно определить, какая система слов оформляет грамматически неправильное предложение.], талантливые кузены кретинов, которых я громила на шахматной доске, нахально смеялись мне в глаза, пока я сражалась с понятиями, представлявшимися им совершенно очевидными.

– Ах, безмятежная мисс Фрум, – саркастично восклицал один профессор каждый вторник, когда поутру я входила в его класс. – Безмятежнейшая. О, синеглазая! Приди и просвети нас.

Моим преподавателям и однокашникам было совершенно ясно, что не успеваю я именно потому, что я – красивая девчонка в мини-юбке, с вьющимися светло-

русскими волосами ниже лопаток. На самом же деле я не справлялась из-за того, что, подобно большинству людей, была не слишком сильна в математике, по крайней мере на требовавшемся уровне. Я попыталась перевестись на английскую или французскую филологию или даже на антропологию, но там меня никто не ждал. В те годы правила соблюдались неукоснительно. В итоге этой долгой печальной истории я выстояла и умудрилась получить диплом бакалавра с отличием третьей степени.

Теперь, после того как я скомкала в пару абзацев годы моего детства и ранней юности, мне надлежит проделать то же с порой студенчества. Я никогда не каталась в плоскодонном ялике по реке Кем (с граммофоном или без), не ходила в «Футлайтс» – театры приводят меня в замешательство, – и меня не задерживала полиция во время беспорядков в Гарден-хаус. Однако я потеряла девственность уже в первом триместре (иногда мне кажется, что это произошло несколько раз, такими бессловесными и неуклюжими были о ту пору любовные утехи), и теперь мне вспоминается приятная последовательность любовников – их было шесть, семь или восемь за девять триместров, в зависимости от применяемого определения любострастия. Я подружилась с несколькими девушками из Ньюнем-колледжа. Я играла в теннис и читала. Стараниями матушки я изучала вполне чуждый мне предмет, но оттого не перестала читать. Как и раньше, в школе, я не слишком увлекалась поэзией или пьесами, но романы доставляли мне, пожалуй, больше удовольствия, чем многим моим университетским товарищам-филологам, вынужденным корпеть над еженедельными сочинениями по «Мидлмарчу» или «Ярмарке тщеславия». Я проглатывала тома на лету, случалось, обсуждала их в дружеской беседе, если находился человек, способный вынести мои безыскусные суждения, затем спешила дальше. Чтение позволяло мне не думать о математике. Более (или менее?) того, чтение позволяло мне не думать.

Я уже говорила, что была скорой девушкой. «Как мы живем теперь» за четыре дня на кушетке! Я могла проглотить длиннющий абзац текста за один зрительный глоток. Мне требовалось лишь размягчить мысли, сделать их мягкими, как воск, так, чтобы глаза просто снимали со страницы пленку впечатления. Быстрым, нетерпеливым движением руки я переворачивала страницу каждые несколько секунд, к раздражению окружающих. Мои потребности были незатейливы. Меня не слишком занимали темы, остроумные фразы или изящные описания погоды, ландшафта и интерьеров. Мне нужны были заслуживающие доверия персонажи, так чтобы я терялась в догадках относительно их дальнейшей судьбы. Обычно я предпочитала людей, которые влюблялись или расставались, но не слишком возражала, если они занимались

чем-то еще. Как бы пошло это ни звучало, мне нравилось, если в конце книжки героине предлагали руку и сердце. Романы без женских персонажей выглядели безжизненной пустыней. Конрад выпадал из круга моих интересов, равно как большинство рассказов Киплинга и Хемингуэя. Не производила на меня впечатления и литературная репутация автора. Бульварное чтиво, великие романы и книги, что посередке, – все стояли передо мной в одной шеренге.

Какой известный роман начинается со следующих слов: «В день ее приезда столбик термометра поднялся до девяноста градусов»? Разве не эффектно? Моих приятелей с филологического факультета бесконечно забавляло, когда я говорила им, что «Долина кукол» ничуть не хуже, чем любая вещь Джейн Остен. Они потешались и издевались надо мной месяцами. А сами не прочитали ни строчки из Жаклин Сьюзан. Но какое это имело значение? Кому мешали инфантильные мнения девушки, не сумевшей стать математиком? Не мне, не моим друзьям. С этой точки зрения, по крайней мере, я была свободна.

Рассказ о моих литературных пристрастиях в годы студенчества – не лирическое отступление. Книги, в конечном итоге, и привели меня в контрразведку. Когда я училась в Кембридже последний год, моя приятельница Рона Кемп начала издавать еженедельный журнал под названием «?Квис?». Такого рода изданий в университетской среде было великое множество, но «?Квис?» выделялся авангардистским смешением высокого и низкого жанров. Поэзия и поп-музыка, политическая теория и сплетни, струнные квартеты и студенческая мода, французская «новая волна» и футбол. Спустя десять лет эту издательскую формулу уже применяли все вокруг. Рона, вероятно, не сама ее придумала, но одной из первых распознала ее привлекательность. Позже она работала в «Вог» (а до того некоторое время – в «Таймс литерари сапплемент») и сделала головокружительную карьеру, полную взлетов и падений, учреждая новые журналы на Манхэттене и в Рио. Двойной вопросительный знак в ее первом издании – «?Квис?» – оказался новаторским; удалось выпустить одиннадцать номеров. Памятуя о моей увлеченности творчеством Сьюзан, Рона Кемп попросила меня вести регулярную колонку – «Книжки прошлой недели». Моим статьям надлежало быть «болтливymi и всеядными». Без зауми! Я писала так же просто, как говорила, то есть обычно пересказывала сюжеты книг, которые недавно прочитала, и пародийно сопровождала случайный приговор россыпью восклицательных знаков. Моя легковесная, аллитеративная проза пользовалась некоторой популярностью. Несколько раз ко мне на улице подходили незнакомцы и говорили, что с удовольствием меня читают. Даже язвительный профессор математики сделал мне комплимент. Так мне довелось пригубить сладостный, пьянящий напиток – студенческую славу.

Я успела написать с полдюжины бойких статей, когда что-то пошло не так. Как многие другие авторы, которым едва улыбнулась удача, я стала воспринимать себя слишком серьезно. Я была девушкой с неразвитыми вкусами – ветер в голове, хотя и созрела для грядущего похитителя на белом коне. Я только и ждала своего принца, как говорится в некоторых занимавших меня романах. Мой принц оказался русским суровой наружности. Я открыла для себя автора и тему – и стала его поклонницей. Неожиданно у меня появилось дело – убеждать. У меня развилась привычка перерабатывать большие куски текста. Вместо того чтобы писать просто и непосредственно, я плодила черновики. По моему скромному мнению, у колонки появилось жизненно важное общественное предназначение. Ночью я вскакивала с кровати, чтобы переписать абзац или исчеркать страницу стрелками и сносками. В глубочайшем раздумье я прогуливалась по аллеям. Пусть общественный интерес к моим статьям спадет, наплевать. Спад интереса лишь доказывал мою правоту; это была героическая цена, которую мне предстояло заплатить. Меня читали не те люди. Скажем, возражения Роны нисколько меня не тронули. Более того, они лишь подтвердили мою правоту.

– Милочка, это совсем не наш стиль, – сказала она холодно однажды днем в «Медном чайнике», возвращая мне текст статьи. – Мы так не договаривались.

Она была права. Живой язык и восклицательные знаки сошли на нет, а гнев и ощущение политической безотлагательности темы сузили рамки интересов и разрушили стиль.

Конец моей журналистской карьеры был предрешен тем часом, что я провела за чтением «Одного дня Ивана Денисовича» Александра Солженицына в новом переводе Гиллона Эйткена. Я принялась за повесть сразу же, как разделалась с «Осьминожкой» Яна Флеминга. Переход был жестким. Я ничего не знала о советских трудовых лагерях, и слова «ГУЛАГ» тоже не знала. Ребенок, выросший в сени собора, что я, в самом деле, могла знать о жестокой нелепости коммунизма, об отважных людях в гнусных, отдаленных тюремных поселениях, вынужденных изо дня в день думать только о выживании? Сотни тысяч несчастных, которых увезли в снежные пустыни Сибири, потому что они сражались за родину на иностранной территории, или побывали в плену, или досадили партийному чиновнику, или были партийными чиновниками, или носили очки, или были евреями, или гомосексуалистами, или владевшими коровами крестьянами, или поэтами. Кто возвысил голос во имя этих загубленных душ? Меня никогда раньше не занимала политика. Мне ничего не

было известно о спорах и разочарованиях старшего поколения. Не слыхала я никогда и о «левой оппозиции». За пределами школы мое образование ограничивалось факультативными занятиями по математике и стопками романов в мягкой обложке. Я была невинна, и мое негодование вышло высоконравственным. Я ни разу не употребила и даже никогда не слышала слово «тоталитаризм». Спроси меня о его значении, я, может быть, ответила бы, что это значит полный отказ от спиртного. Мне казалось, что я пронзаю завесу взглядом и веду репортажи с невидимого фронта.

За неделю я осилила «В круге первом» Солженицына. Название было заимствовано из Данте. Первый круг Дантова ада предназначен для древнегреческих философов и представляет собой, между прочим, прелестный огороженный сад, окруженный морем адских мук, сад, откуда нет выхода, и возможности попасть в рай тоже нет. Я сделала ошибку неопита, предположив, что все вокруг настолько же невежественны, насколько я была всего несколько месяцев назад. Моя колонка обрела полемический накал. Неужто самодовольный Кембридж не понимает, что происходит, что все еще происходит в трех тысячах милях к востоку от Англии, не обращает внимания на ущерб, причиненный человеческому духу этой утопией из очередей за хлебом, ужасной одежды и запретов на путешествия? Что же делать?

«?Квис?» вытерпел четыре раунда моего антикоммунизма. Мои интересы простирались от «Слепящей тьмы» Кёстлера до «Под знаком незаконнорожденных» Набокова и замечательного трактата Милоша, «Порабощенный разум». Кроме того, я впервые в мире поняла суть оруэлловского «1984». И все же душа моя принадлежала моей первой любви – Солженицыну. Лоб, вздымающийся подобно куполу православного собора, клинообразная борода деревенского священника, угрюмая, закаленная в ГУЛАГе непререкаемость суждений, упрямая невосприимчивость к политикам. Даже его религиозные верования не способны были меня отвратить. Я не возмутилась, когда он сказал, что люди забыли бога. Он был бог. Кто сравнится с ним? Кто откажет ему в Нобелевской премии? Вглядываясь в его фотографию, я желала стать его любовницей. Я бы служила ему, как моя мать служила отцу. Штопать ему носки? Да я бы ноги ему мыла. Языком!

В те годы тема советских беззаконий была расхожим штампом в речах западных политиков и редакционных колонках большинства газет. С точки зрения университетской жизни и политических настроений молодежи муссирование этой темы было, в известном смысле, безвкусицей. Если ЦРУ против коммунизма,

значит, в коммунизме есть что-то хорошее. Некоторые отделения лейбористской партии все еще потворствовали стареющим кремлевским зверям и их чудовищным затеям, по-прежнему пели «Интернационал» на ежегодных съездах и посылали за «железный занавес» студентов по программам доброй воли. В годы «холодной войны» и черно-белого мышления странно было соглашаться с критикующим Советский Союз американским президентом, который развязал войну во Вьетнаме. Однако во время знаменательного чаепития в «Медном чайнике» Рона – уже тогда лощеная, надушенная, точная в выражениях – сказала, что в моей колонке ее беспокоила не политика. Мой грех состоял в серьезности. В следующем выпуске журнала моей рубрики уже не было. Ее место заняло интервью с психоделической музыкальной группой «Невероятные струны». А потом «?Квис?» приказал долго жить.

* * *

Через несколько дней после своей отставки я начала читать Колетт, и это увлекло меня на несколько месяцев. Были у меня и другие срочные заботы. Выпускные экзамены начинались через несколько недель, а еще у меня завелся новый парень – историк по имени Джереми Мотт. Выглядел он несколько старомодно, если можно так сказать, – долговязый, с крупным носом и выдающимся кадыком. Джереми был неухожен, сдержанно умен и изысканно учтив. Таких ребят вокруг меня было немало. Казалось, что все они происходят из одной семьи и окончили одну и ту же государственную школу в городке на севере Англии, где им выдали одинаковую одежду. Это были одни из последних людей на земле, все еще носивших твидовые пиджаки с кожаными вставками на локтях и отделкой на манжетах. Мне стало известно, хотя и не от самого Джереми, что он готовится получить диплом с отличием и уже опубликовал статью в научном журнале, посвященном истории шестнадцатого века.

Любовником он оказался нежным и внимательным, несмотря на неудачно, под острым углом изогнутую лобковую кость, что в первый раз причинило мне адскую боль. Он попросил у меня прощения, как извиняются за сумасшедшего дальнего родственника. Из чего я сделала вывод, что он был не особенно смущен. Мы уладили дело, во время любовных утех помещая между нами сложенное полотенце – средство, к которому, как мне показалось, Джереми прибегал и раньше. Он был внимателен и умел и мог продолжать столько, сколько мне хотелось, и даже больше, пока не выдерживала я сама. Однако его оргазм ускользал от нас несмотря на мои усилия, и я стала подозревать, что ему хочется от меня каких-то слов или действий. Он, впрочем, ничего не говорил.

Точнее, утверждал, что говорить не о чем. Я ему не верила. Мне хотелось, чтобы у него была тайна и постыдное желание, которое могла удовлетворить только я. Я желала сделать этого высокого, учтивого человека целиком моим. Может быть, ему хотелось отшлепать меня по попе или попросить меня надавать ему шлепков? А может, примерить мое белье? Эта загадка стала моим наваждением: когда мы расставались, я думала о ней постоянно и мне становилось все сложнее сосредоточиться на математике. Колетт стала моим убежищем.

Однажды ранним вечером в начале апреля, после упражнений со сложенным полотенцем в квартире Джереми, мы переходили дорогу близ старого здания Хлебной биржи, я – в дымке удовлетворенности (хотя чуть побаливала растянутая в пояснице мышца), он – ну, не знаю. Пока мы шли, я размышляла, не следует ли мне снова поднять так занимавший меня вопрос. Джереми хотел казаться дружелюбным и, крепко обняв меня за плечо, рассказывал о своей статье, посвященной истории Звездной палаты. Меня же не покидала мысль о том, что он неудовлетворен. Мне казалось, что неудовлетворенность проступает в его напряженном голосе, нервной походке. За несколько дней любовных занятий он ни разу не испытал оргазм. Я хотела ему помочь, мое любопытство было совершенно искренним. Еще меня беспокоила мысль о том, что я его подвела. Я его возбуждала, это точно, но его желание, возможно, было недостаточно сильным. Мы миновали здание Хлебной биржи; в сырых апрельских сумерках рука любовника обвивала меня, как лисий воротник, и счастье мое было лишь слегка омрачено растянутой мышцей и тайными для меня желаниями Джереми.

Внезапно в неверном свете фонаря перед нами из переулка появился Тони Каннинг, профессор истории, преподававший на курсе Джереми. Джереми представил нас друг другу, и профессор пожал мне руку, удержав ее в своей чуть дольше, чем позволяли приличия, так мне показалось. На вид он был чуть старше пятидесяти – примерно возраста моего отца; я знала о нем только то, что уже говорил мне Джереми. Каннинг, кембриджский профессор, когда-то дружил с Реджи Модлингом, министром внутренних дел, который иногда приезжал к нему в колледж пообедать. Но однажды вечером они, напившись вдрызг, рассорились из-за практики внесудебных арестов в Северной Ирландии. Профессор Каннинг возглавлял комиссию по историческим памятникам, заседал в различных советах, входил в число попечителей Британского музея и написал очень ценившуюся специалистами книгу о Венском конгрессе.

Это был джентльмен старой породы; о таких мужчинах я имела некоторое представление. Они иногда бывали в доме моего отца-епископа. В то время, еще полное духа шестидесятых, они раздражали всякого человека старше двадцати пяти лет, но мне нравились. Они бывали очаровательны, даже остроумны, и тянувшиеся за ними ароматы сигар и бренди придавали миру ощущение устойчивости и процветания. Они были высокого мнения о себе, но не казались мне бесчестными и, похоже, обладали развитым чувством общественного долга. С большой серьезностью они относились к собственным удовольствиям (вино, гастрономия, рыбалка, бридж и т. д.), а некоторые из них успели отличиться в интересных войнах. Помню, как пару раз на Рождество они одарили меня и сестру десятишиллинговой купюрой. Пусть такие люди правят миром. Мы знаем типов и похуже.

Каннинг держался величаво, но сдержанно, что, по-видимому, соответствовало его относительно скромному положению в обществе. Мне запомнились его волнистые волосы, красиво разделенные пробором, влажные, чуть пухлые губы и небольшая бороздка посередине подбородка, показавшаяся мне очень трогательной, так как даже при плохом освещении было видно, что ему непросто ее выбривать. Из вертикальной складки кожи торчало несколько непослушных черных волосков. Он был видный мужчина.

Покончив с формальностями, Каннинг задал мне несколько вопросов, вполне вежливых и невинных – о моем дипломе, о колледже и его ректоре, с которым он приятельствовал, о моем родном городе и соборе. Джереми пытался было начать светскую беседу, но Каннинг его прервал. Поблагодарил Джереми за то, что тот показал ему три мои последние статьи для «?Квис?», и вновь обернулся ко мне.

– Отличные вещицы. У вас талант, милая. Никогда не задумывались о журналистике?

«?Квис?» был студенческой газетенкой, не предназначенной для серьезных читателей. Похвала Каннинга была невероятно приятна, но в силу молодости я не могла принять комплимент с достоинством. Я пробормотала что-то в ответ, но мои слова прозвучали отговоркой, потом попыталась исправиться и растерялась окончательно. Профессор проявил ко мне участие и пригласил нас на чашку чая, и мы, точнее, Джереми, согласились. И мы пошли за Каннингом обратно по рыночной площади, в сторону его колледжа.

Квартира его была меньше, неопрятнее, захламленнее, чем я ожидала, и меня удивило, как неряшливо он заваривает чай, не до конца промывая приземистые, в чайных пятнах кружки, проливая кипяток из грязного электрического чайника на бумаги и книги. Это совсем не вязалось с образом того Тони Каннинга, которого я узнала позже. Хозяин уселся за письменный стол, мы разместились в креслах, и он продолжил задавать вопросы. Похоже на коллоквиум. Теперь, когда я поела его шоколадное печенье (как сейчас помню, «Фортнам энд Мейсон»), оставлять его вопросы без ответа мне казалось неприличным. Джереми поощрял меня, глуповато кивая головой на каждую мою фразу. Профессор спросил меня о родителях, о детстве «в тени собора» – я ответила, как мне показалось, остроумно, что тени не было, так как собор располагается на север от нашего дома. Мужчины рассмеялись, и я подумала, не скрывалось ли в моей шутке больше того, что я вложила в нее сознательно. Мы перешли к ядерному оружию и призывам лейбористов к одностороннему разоружению. Я повторила прочитанную где-то фразу – клише, как я поняла позже. Невозможно «загнать джинна обратно в бутылку». Ядерным оружием необходимо управлять, а не запрещать его. Такой вот юношеский идеализм. По правде говоря, у меня не было определенного мнения на этот счет. В иных обстоятельствах я, возможно, выступила бы за ядерное разоружение. А тогда мне хотелось произвести впечатление (пусть я и не призналась бы себе в этом), давать правильные ответы, быть интересной. Мне нравилось, что Тони Каннинг подавался вперед, когда я ему отвечала, меня воодушевляла слабая улыбка одобрения, чуть растягивавшая его пухлые губы, и его словечки – «Ясно» и «Что ж, вполне» – когда я умолкала.

Возможно, мне следовало понять, к чему это ведет. В оранжерейном мирке студенческой журналистики я заявила о себе как о курсанте в академии «холодной войны». Теперь мне это очевидно. Как-никак я находилась в Кембридже. Иначе зачем мне вообще пересказывать эту встречу? Тогда она не имела для меня ни малейшего значения. Вот мы направлялись в книжную лавку, а оказались за чайным столом в доме профессора моего парня Джереми. Ничего странного. Если методы вербовки и менялись, то очень незначительно. Быть может, в западном мире действительно происходили перемены, и молодым казалось, что они находят новые пути общения, а древние преграды разрушаются у основания. Однако по-прежнему применялся знаменитый принцип «дружеская рука на плече» – может быть, не так часто, может быть, менее настойчиво. Некоторые доны продолжали высматривать в университетах перспективных кандидатов для работы в спецслужбах и передавать «куда надо» сведения для «интервью» с ними. Некоторых многообещающих и только что принятых на работу госслужащих по-прежнему отводили в сторонку и

спрашивали, не задумывались ли они о службе в «другом департаменте». В основном к людям обращались с подобными предложениями через несколько лет после начала карьеры. Хотя об этом не говорилось в открытую, большое значение имело социальное происхождение кандидата, и наличие епископа в моей родословной считалось преимуществом. Не раз отмечалось, сколько времени прошло, пока дела Бёрджесса, Маклейна и Филби не разметали в прах представления о том, будто люди определенного типа с большей вероятностью будут преданы своей стране, чем другие. В семидесятые годы их измены все еще отзывались громом, но от привычных способов вербовки и не думали отказываться.

Обычно и дружеская рука, и плечо принадлежали мужчинам. К женщинам эти овеянные традицией методы применяли редко. И хотя, строго говоря, то, что Тони Каннинг завербовал меня на службу в МИ-5, верно, его мотивы были сложны, и действовал он без официальной санкции. Если то обстоятельство, что я была молода и привлекательна, имело для него какое-то значение, то полное осознание всех печальных обстоятельств дела пришло ко мне гораздо позже. (Теперь, когда зеркало рассказывает другую историю, я могу признаться и наконец забыть об этом. Я правда была красивой. Более того, как написал в одном из редких для него страстных писем Джереми, я была «просто ошеломительной».) Даже седобородые полубоги с пятого этажа, которых я и видела-то всего пару раз за недолгое время моей службы, недоумевали, с какой целью меня определили к ним в контору. Наверное, они держали пари, но никогда бы не догадались, что профессор Каннинг – и сам старый агент МИ-5 – направил меня к ним в качестве искупительного подношения. Обстоятельства его жизни были сложнее и печальнее, чем можно себе представить. Он изменил мою жизнь и, в сущности, поступил с бескорыстной жестокостью – готовясь отправиться в путешествие, из которого не возвращаются. Если даже теперь я так мало о нем знаю, так это потому, что в плавании я сопровождала его очень недолго.

2

Мой роман с Тони Каннингом продлился несколько месяцев. Некоторое время я продолжала встречаться и с Джереми, но в конце июня, после выпускных экзаменов, он переехал в Эдинбург, чтобы работать над диссертацией. Забот в жизни поубавилось, хотя меня по-прежнему тревожила мысль, что вплоть до

самой разлуки я так и не сумела раскрыть тайну Джереми и доставить ему удовольствие. Он, впрочем, никогда не жаловался и не выглядел расстроенным. Спустя несколько недель я получила от него нежное, преисполненное раскаяния письмо, в котором он поведал, что влюбился в скрипача: впервые увидел его в Ашер-холле, когда тот исполнял концерт Бруха, – он молодой немец из Дюссельдорфа, и скрипка в его руках звучит поразительно, особенно во второй части. Звали его Манфред. Ну разумеется. Будь я чуть более старомодной, мне не составило бы труда догадаться – некогда у мужских сексуальных расстройств была только одна причина.

Как складно. Тайна разгадана, и можно было перестать беспокоиться о благополучии Джереми. Впрочем, сам он милейшим образом тревожился обо мне и даже написал, что может приехать, чтобы объяснить. В ответ я написала поздравительное письмо и почувствовала, как повзрослела, несколько преувеличив собственную радость за его счастье. Однополюе связи стали законными всего лет пять назад, а тогда его слова прозвучали для меня необычно. Я писала, что нет никакой необходимости ехать в Кембридж, что я навсегда сохраню о нем самые теплые воспоминания, что он чудеснейший человек и что я надеюсь однажды познакомиться с Манфредом, так что не будем терять связь, прощай! Мне хотелось поблагодарить Джереми за то, что он представил меня Тони, но я не видела смысла в том, чтобы вселять в него подозрение. Я и Тони ничего не сказала о его прежнем студенте. Для счастья каждому хватало того, что он уже знал.

Мы и были счастливы. Каждые выходные мы проводили в уединенном домике близ Бери-Сент-Эдмундс в Суффолке. С узкой проселочной дороги нужно было свернуть направо, на едва различимую тропинку, что пролегалла через поле, и там, на опушке старого, безвершинного леса, полузадушенная кустами боярышника, белела в штакетнике калитка. Выложенная плитняком тропинка вела через заросший деревенский сад (люпины, алтеи, гигантские маки) к тяжелой дубовой двери, обитой не то гвоздями, не то заклепками. Открыв дверь, посетитель попадал в столовую с огромными каменными плитами пола и балками, которые изъело время, наполовину утопленными в штукатурке. На противоположной стене висел красочный средиземноморский пейзаж – выбеленные солнцем дома и белье, сохнущее на веревке. Акварель кисти Уинстона Черчилля была написана в Марракеше, почти сразу после конференции 1943 года. Узнать, как она попала к Тони, мне не довелось.

Фрида Каннинг, торговавшая произведениями искусства и подолгу жившая за границей, не любила сюда приезжать. Ее раздражали сырость, запах плесени и десятки будничных дел, так или иначе связанных с поддержанием дачного дома. В действительности, дом стоило только протопить, и от запаха не оставалось и следа, а все заботы брал на себя ее муж. Требовались определенные знания и сноровка, чтобы разжечь упрямую «рейборнскую» печку, силой открыть окно на кухне, запустить сантехнику в ванной и распорядиться попавшей в западню мышью с перебитым хребтом. Мне не приходилось даже готовить. При всей неряшливости чаепития на кухне Тони чувствовал себя королем. Иногда я выступала в роли его поваренка и многому научилась. Каннинг готовил в итальянской манере, научившись кулинарии за четыре года преподавания в университете Сиены. Его часто мучили боли в спине, так что каждый раз по приезду я тащила на себе в дом холщовые мешки с провизией и вином от его припаркованного в поле старенького спортивного «Эм-джи-эй».

Стояло погожее, по английским меркам, лето, и Тони соблюдал вполне вальяжный распорядок дня. Мы часто накрывали ко второму завтраку в саду, в тени старого кизильника. Обычно, проснувшись после полуденного сна, он принимал ванну, а потом, в теплую погоду, читал в гамаке, протянутом между двумя березами. В жару у него иногда шла носом кровь, и тогда он вынужден был лежать в комнате, прижав к лицу фланелевую тряпку с завернутыми в нее кубиками льда. Иногда вечером мы устраивали пикник в лесу, брали с собой бутылку белого, обернутую в ломкое от крахмала посудное полотенце, бокалы для вина в сундучке из кедрового дерева и фляжку кофе. Профессорская столовая *sur l'herbe* [З - На траве (фр.)]. Чашки и блюда, камчатную скатерть, фарфоровые тарелки, столовые приборы и складной алюминиевый стул с полотняным сиденьем – все это я безропотно тащила на себе. Когда лето набрало силу, мы прекратили дальние лесные вылазки, так как Тони жаловался, что ему больно ходить, и он быстро устает. По вечерам он любил слушать пластинки с операми на старом проигрывателе, и хотя вкратце рассказывал мне о персонажах и перипетиях сюжета в «Аиде», «Так поступают все женщины» и «Любовном напитке», все эти пронзительные, томящиеся голоса немного для меня значили. Странное шипение и потрескивание затупившейся иглы, которая плавно опускалась и поднималась на изгибах грампластинки, казалось эфиром, сквозь который к нам взывали отчаявшиеся мертвецы.

Тони любил рассказывать мне о детстве. Его отец был капитаном боевого корабля в Первую мировую и к тому же отлично управлял яхтой. В конце двадцатых семья проводила отпуск в яхтенных прогулках по Балтике, и так родители нашли и в конце концов купили каменный домик на удаленном

островке Кумлинге. Островок этот, окутанный дымкой ностальгии, олицетворял для Тони райское детство. Он и его старший брат были там предоставлены самим себе, устраивали стоянки с кострами на пляжах, ходили на веслах к необитаемому островку за разноцветными птичьими яйцами. У него сохранились старые, сделанные еще ящичным фотоаппаратом снимки, доказывавшие, что детский рай существовал на самом деле.

Однажды в конце августа мы отправились в лес. Такие прогулки были не редкостью, но в тот день Тони свернул с тропы, а я слепо пошла за ним. Мы продирались через подлесок, и я подумала, что мы собираемся заняться любовью в каком-то тайном, ему одному известном месте. Листья казались довольно сухими. Но мысли его, как выяснилось, были заняты только грибами – белыми. Скрывая разочарование, я стала учиться отличать съедобные грибы от ядовитых – поры, а не пластинки; филигрань на ножке; не оставляют пятен, если вдавить палец в мякоть. Дома он приготовил целую миску белых – порчини, как, по-итальянски, ему нравилось называть эти грибы – с оливковым маслом, перцем, солью и панчеттой, и мы съели их с запеченной полентой, салатом и красным вином, с бутылкой бароло. В семидесятые годы это был экзотический обед. Я запомнила тот вечер во всех подробностях – старую сосновую столешницу, изъеденные, поблекшей голубизны ножки стола, широкую фаянсовую миску со скользкими грибами, диск поленты, сиявший с трещиноватой бледно-зеленой тарелки как маленькое солнце, пыльную черную бутылку вина, остренькую рукколу в белой посудине и Тони, который за считанные секунды приготовил соус, добавив масло и выжав лимон в салат чуть ли не на ходу, пока нес миску на стол. (Моя мать готовила соус сосредоточенно, на уровне глаз, как заправский химик.) Мы с Тони съели за этим столом не один ужин, но тот вечер был особым. Какая простота, какой вкус, какая светскость! Тем вечером поднялся сильный ветер, и большая ветка ясеня стучала и скребла по черепичной крыше. После еды мы читали, потом, выпив еще вина, предавались любовным утехам и, конечно же, снова говорили.

Каким он был любовником? Ну, конечно, не таким энергичным и неутомимым, как Джереми. И хотя для своего возраста Тони был в хорошей форме, меня поначалу смущало, что пятьдесят четыре года могут оказать столь разрушительное влияние на тело. Он сидел на краю кровати, согнувшись, чтобы стянуть с себя носок. Его босая нога выглядела как истрепанная старая туфля. Я замечала складки кожи в самых неожиданных местах, даже под мышками. Странно, что, удивляясь ему (свое удивление я скоро погасила), я не думала, что всматриваюсь в собственное будущее. Мне был двадцать один год. То, что я принимала за норму – упругие мышцы, гладкая кожа, гибкие члены, – было лишь

состоянием быстротекущей юности. Старики казались мне другим видом, как воробьи или лисы. А теперь чего бы я только не отдала, чтобы вернулись мои пятьдесят четыре! Главный удар принимает на себя кожа – старикам их кожа великовата. Она висит на них, как школьный блейзер, купленный на вырост. Или пижама. Когда свет падал под определенным углом (или это было от занавесок), кожа Тони приобретала желтоватый оттенок, как у старой дешевой книжки, в которой читались его несчастья – переедание, операция на колене и аппендэктомия, укус собаки, падение при восхождении к горной вершине и детская катастрофа со сковородкой за завтраком, навсегда лишившая его части волос на лобке. Справа, от груди до шеи тянулся белый шрам, о происхождении которого он не рассказывал никогда. Но пусть даже он был немного... потерт и чем-то смахивал на моего побитого временем плюшевого мишку, забытого в родительском доме, он оставался светским любовником, учтивым джентльменом. У меня захватывало дух, когда он меня раздевал, легко перебрасывая мою одежду через руку, как служитель у бассейна, или когда просил меня сесть верхом ему на лицо – это было для меня так же внове, как салат с рукколой.

Не все, конечно, мне нравилось. Он бывал чересчур поспешен, нетерпелив, стремился к другим, очередным удовольствиям – больше всего на свете он любил пить и рассуждать. Позже мне стало казаться, что он эгоистичен (было в его манере нечто старорезимное) и слишком спешит к собственному оргазму, всегда сопровождавшемуся у него хриплым криком. Он был помешан на моих сосках, которые тогда, готова поручиться, были прелестны, но мне казалось очень странным, что мужчина в возрасте епископа может так по-детски их ласкать, чуть ли не сосать с неприличным скулящим звуком. Тони был одним из тех англичан, кого в семилетнем возрасте разлучают с матерью и отправляют в ледяную ссылку школы-пансиона. Они никогда в жизни не признаются в своем несчастье, эти постаревшие мальчишки, они просто с ним живут. Но это мелкие жалобы. Все было мне внове – любовное приключение, свидетелевавшее о моей зрелости. Во мне души не чаял пожилой ученый мужчина. Я все ему прощала. Да, мне нравились его мягкие, чуть пухлые губы. Он изумительно хорошо целовался.

И все же больше всего он мне нравился, когда, одевшись, восстановив красивый пробор (он пользовался маслом для волос и стальной расческой), он вновь становился учтивым джентльменом, помогавшим мне усесться в кресло, ловко откупоривавшим бутылку пино гриджио, направлявшим меня в мире книг. И вот еще обстоятельство, которое я стала замечать с годами, – горный хребет, отделяющий голого человека от одетого. Как два человека с одним паспортом.

Повторяю, для меня это не имело особого значения, мне нравилось общество Тони – секс и кулинария, вино и короткие прогулки, разговоры. А еще мы много занимались. На заре нашего романа, весной и в начале лета, я готовилась к выпускным экзаменам. Тони ничем не мог мне помочь. Он сидел напротив меня за столом и писал монографию о Джоне Ди.

У него было множество друзей, но если в доме была я, он, конечно, никогда никого не приглашал. Только однажды у нас были посетители. Как-то днем они приехали в машине с шофером, двое в темных костюмах, лет сорока, мне показалось. Тони довольно резко попросил меня пойти и погулять в лесу подольше. Когда я пришла домой часа через полтора, мужчины уже ушли. Тони ничего мне не объяснил, и тем же вечером мы вернулись в Кембридж.

Наши встречи происходили только в его летнем домике. Кембридж все-таки был деревней, и Тони там слишком хорошо знали. Мне приходилось идти со всеми вещами на другой конец города и ждать на автобусной остановке у жилого массива, пока он не подъедет за мной на своем стареньком спортивном авто. Подразумевалось, что это кабриолет, но гармошка металлических распорок, поддерживавших полотняную крышу, заржавела и не складывалась. В старом «Эм-джи-эй» имелась лампочка для карты на хромированной ножке. Циферблаты приборов дрожали. Пахло машинным маслом и разогретым двигателем, как в каком-нибудь «Спитфайре»[4 - Истребитель ВВС Великобритании времен Второй мировой войны.] сороковых годов. Под ногами вибрировало теплое металлическое днище. Когда, выйдя на шаг вперед из очереди на автобус, я, под неприязненными взглядами ждущих пассажиров, превращалась из лягушки в принцессу и влезала в низкую машину, на соседнее с профессором сиденье, я испытывала непередаваемые ощущения. Это было все равно что залезть в постель – на глазах у публики. Засунув сумку в узкое пространство позади сиденья, я перегибалась к нему за поцелуем и ощущала, как покрытая трещинами кожа кресла цепляется за мою шелковую блузку (он купил мне ее в «Либертис»).

После экзаменов Тони заявил, что отныне он будет определять круг моего чтения. Довольно романов! Его ужасало мое невежество в вопросах нашей, как он ее называл, «островной истории». Он был прав. В школе уроки истории закончились, когда мне исполнилось четырнадцать. Теперь, в двадцать один год, я получила образование в привилегированном университете, однако Азенкур[5 - Битва при Азенкуре – эпизод Столетней войны: битва английских и французских войск близ коммуны Азенкур в Северной Франции 25 октября 1415

года.], божественное право королей[6 - Божественное право королей – доктрина, согласно которой монархия имеет божественное происхождение и, следовательно, наследственное право нельзя отменить. Была распространена в средневековой Европе.] и Столетняя война оставались для меня только фразами. Само слово «история» в моем сознании было тождественно унылой процессии престолов и кровавой религиозной вражде. Все же я подчинилась. Материал был интереснее, чем математика, а список для чтения невелик – Уинстон Черчилль и Дж. М. Тревельян. Остальное профессор намеревался рассказать мне сам.

Наш первый семинар прошел в саду, под кустом кизильника. Я узнала, что с XVI века в основе английской, а затем британской политики лежит стремление к равновесию сил. От меня потребовалось прочитать уйму книг о Венском конгрессе 1815 года. Тони утверждал, что равновесие между государствами служит основой международной правовой системы мирной дипломатии. Жизненно важно, чтобы государства сдерживали друг друга.

Я часто читала в одиночестве после ланча, когда Тони ложился вздремнуть – с течением лета его дневной сон становился все длиннее, и мне следовало это заметить. Поначалу его поражала моя скорость чтения. Двести страниц за пару часов! Затем я его разочаровала. Я не могла ответить на его вопросы, а значит, прочитанное не откладывалось у меня в голове. Он заставил меня перечитать черчиллевское описание «славной революции», экзаменовал меня, театрально вздыхал – «Ах ты чертово сито!», – настаивал, чтобы я вернулась к тексту, снова задавал вопросы. Наши устные экзамены проходили во время прогулок в лесу или за бокалом вина, после приготовленного им ужина. Мне претила его настойчивость. Мне хотелось, чтобы мы были любовниками, а не учителем и ученицей. Меня брала досада и на него, и на саму себя, если я не могла ответить на вопрос. А затем, спустя несколько таких сессий, вместо досады и раздражения я начала ощущать некоторую гордость, и не только за улучшившуюся «успеваемость». Я стала обращать внимание на саму историю. Мне показалось, что я обнаружила в ней нечто ценное, как раньше – когда читала о советской диктатуре. Разве в конце XVII века Англия не была самым свободным и прогрессивным обществом за всю предшествовавшую мировую историю? Разве английское просвещение не оказалось более значимым, чем французское? Не благородно ли то, что Англия обособилась в своей борьбе с католическими деспотиями на континенте? И уж конечно, мы выступали наследниками этой свободы.

Я была натурой увлекающейся. Тони готовил меня к первому собеседованию, которое должно было состояться в сентябре. Он имел некоторое представление о том, женщину какого типа они готовы взять на службу (или, по крайней мере, о том, какую женщину он сам готов был бы принять в контору), и его беспокоило, что мое поверхностное образование меня подведет. Он полагал (как оказалось, ошибочно), что среди сотрудников, проводящих собеседование, окажется один из его прежних студентов. Он настаивал, чтобы я каждый день читала газету, а под газетой он разумел, конечно же, «Таймс», которая тогда еще была почтеннейшим из многотиражных изданий. Пресса меня никогда раньше не интересовала, и я даже не знала, что такое передовица. Очевидно, она представляла собой «бьющееся сердце» газеты. На первый взгляд язык передовицы походил на шахматную задачу. Поэтому меня зацепило. Меня восхищали полнозвучные, царственные фразы о вопросах государственной важности. Авторы выражались несколько туманно и никогда не гнушались ссылкой на Тацита или Вергилия. Какая зрелость! Мне казалось, что любой из этих безымянных писателей достоин стать президентом всей планеты.

Так что же заботило общественность? В передовицах величественные придаточные обороты вращались по эллиптическим орбитам вокруг звездообразных глаголов, но письма в редакцию не оставляли места для сомнений. Планеты сошли с орбит, и авторы колонок всем своим тревожным сердцем чувствовали, что страна погружается в отчаяние, ярость и безысходность саморазрушения. Соединенное Королевство, говорилось в одной статье, поддалось лихорадочной акразии – это греческое слово, напомнил мне Тони, обозначает действия, совершаемые себе во вред. (Не читала ли я «Протагор», диалог Платона?) Полезное слово. Я сохранила его в памяти. Однако делать что-то себе на пользу и не представлялось возможным. Все сошли с ума, твердили газеты. В те смутные годы широкое распространение получило архаичное слово «раздор», только вспомните: инфляция ведет к забастовкам, урегулирование разногласий по оплате труда – к росту инфляции, и все это на фоне тупоголовых выпивох из руководства фирм и компаний, злобных нападок профсоюзов, слабого правительства, энергетического кризиса и отключений электричества, скинхедов, грязных улиц, волнений в Ольстере и атомных бомб. Упадок, разложение, тусклая бездеятельность и апокалипсис...

Любимыми темами авторов писем в «Таймс» были шахтеры, «государство рабочих», двуполярный мир Инока Пауэлла и Тони Бенна, странствующие пикетчики и беспорядки у Солтли-гейт. В письме отставного контр-адмирала говорилось, что страна напоминает ему ржавеющий броненосец с пробойной ниже ватерлинии. Тони прочитал письмо за завтраком и сердито и шумно

помахал газетой в мою сторону – бумага в ту пору еще хрустела.

– Броненосец? – гневался он. – Это даже не корвет. Это идущая ко дну гребная шлюпка!

Тот год, 1972-й, оказался только началом. Вскоре после того, как я стала читать «Таймс», в стране ввели трехдневную рабочую неделю, начались отключения электроэнергии, и правительство в пятый раз объявило чрезвычайное положение. Я верила в то, что читала, но кризис казался мне чем-то отдаленным. Кембридж был таким же, как всегда, и лес вокруг домика Каннингов тоже, по-видимому, не изменился. Несмотря на уроки истории, преподанные добрым профессором, история Великобритании совершалась без меня. В собственности я имела только чемодан с одеждой, менее пятидесяти книг да какие-то детские вещи в моей спальне, в родительском доме. У меня был любовник, обожавший меня, развлекавший меня гастрономическими изысками, но совершенно не намеревавшийся расставаться из-за меня с женой. У меня была одна обязанность – собеседование с работодателем, – да и то через несколько недель. Пока же я была свободна. Итак, чем мне предстояло заняться в службе безопасности, что я намеревалась сделать полезного для хворающего государства, этого больного человека Европы? Ничего, ничего я не намеревалась делать. Я не знала. В моей жизни возникла возможность, и мне хотелось ее использовать. Этого хотел Тони, а значит, и я, тем более что других перспектив я не видела. Так почему бы и нет?

Кроме того, я считала себя обязанной родителям, а они обрадовались, узнав, что я рассматриваю возможность устройства на работу во вполне почтенное Министерство здравоохранения и социального обеспечения. Может быть, моей матери рисовались картины дочери-ученого, расщепляющей ядра атомов, но в то беспокойное время ее утешила надежность, которую обещала мне государственная служба. Мать хотела понять, почему я не вернулась домой после выпускных экзаменов, и я объяснила, что добросердечный пожилой профессор готовит меня к «экзамену» у работодателя. Поэтому вполне логичным выглядело, что я сняла крохотную комнатку в Кембридже, у Джизус-грин и «просиживала штаны за книжками», даже по выходным.

Моя мать, возможно, с бо?льшим скепсисом отнеслась бы к моим планам, но ее отвлекла моя сестра Люси, которая тем летом пустилась во все тяжкие. Она всегда была более шумной и дерзкой, более склонной к риску, чем я, и «свободные шестидесятые», на костылях перешедшие в новое десятилетие,

оказали на нее куда большее влияние. К тому же теперь сестра была на полголовы выше меня и первой в моем окружении носила джинсовые шорты. Расслабься, Сирина, будь свободна! Поедем путешествовать. Она подхватила дух хиппи уже на излете, но в провинциальных городках всегда так бывало. А еще она трубила на каждом углу, что собирается стать врачом, терапевтом или, может быть, педиатром, да, это ее единственная цель в жизни.

К цели Люси шла весьма извилистыми путями. В июле того года, после паромной переправы из Кале в Дувр, на границе ее остановил таможенный чиновник или, точнее, его пес, лающая ищейка, привлеченная ароматом из рюкзака. Внутри обнаружилось полфунта турецкого гашиша, завернутого в футболки и в несколько слоев пленки. А внутри Люси (также без таможенной декларации) пребывал зародыш. Личность отца осталась невыясненной.

На протяжении нескольких следующих месяцев моей матери приходилось ежедневно заниматься четырьмя задачами. Первая состояла в том, чтобы спасти Люси от тюрьмы, вторая – в том, чтобы оградить семейные дела от газетчиков, третья – предотвратить исключение Люси из манчестерского колледжа, где она обучалась на втором курсе медицинского отделения. Четвертая задача заключалась в том, чтобы устроить аборт (впрочем, это не сопровождалось особыми душевными муками). По моим впечатлениям от срочной поездки домой (рыдающая загорелая Люси, от которой пахнет пачулями, сжимает меня в объятиях) епископ готов был смириться и принять все, что уготовил ему Господь. Но в дело уже вступила мать: с яростной энергией она задействовала связи, которые, как правило, тянутся по графству, да и по всей стране, от каждого средневекового собора. Например, главный констебль нашего графства был проповедником без духовного сана и хорошо знал своего коллегу, главного констебля Кента. Приятель по Ассоциации консерваторов был знаком с судьей-магистратом в Дувре, перед которым предстала Люси. Редактору местной газеты страстно хотелось, чтобы двое его сыновей-близнецов, которым медведь на ухо наступил, пели в церковном хоре. Все это, уверяла меня мать, оказалось делом нудным и тяжелым, в особенности аборт, операция рутинная с точки зрения медицины, но, к удивлению Люси, страшно тяжелая эмоционально. В итоге Люси приговорили к шести месяцам тюрьмы условно, в прессу ничего не просочилось, а ректор Манчестерского университета или какой-то другой почтенный муж заручился поддержкой моего отца по одному из сложнейших вопросов, подлежавших обсуждению на грядущем заседании Синода. В сентября сестра вернулась в колледж. И через два месяца бросила учебу.

Так в июле и августе меня предоставили себе – нежиться на Джизус-грин, читать Черчилля, скучать, ожидать выходных и похода к автобусной остановке на другом конце города. Уже скоро я буду вспоминать лето 1972 года как золотой век, как драгоценную идиллию, но следует признать, что удовольствия ограничивались только тремя вечерами в неделю – с пятницы по воскресенье. Эти выходные превращались в развернутую лекцию об искусстве жить, наслаждаться едой и питьем, о том, как читать газеты, придерживаться своей линии в споре и быстро схватывать суть книги. Я знала, что скоро у меня собеседование в конторе, но ни разу не поинтересовалась, почему Тони принимает такое деятельное участие в моей судьбе. Задайся я этим вопросом, и мне, наверное, пришло бы в голову, что подобное внимание проистекает из самой сути любовной связи с пожилым человеком.

Конечно, такое положение вещей не могло продолжаться долго: все развалилось во время получасовой сцены на обочине большой автострады, всего за два дня до моего собеседования в Лондоне. Последовательность событий весьма примечательна. У меня была шелковая блузка, которую, как я уже говорила, Тони купил мне в начале июля. Подарок был замечательный. Мне нравилось ощущение дорогого шелка, а Тони не раз говорил, как ему нравится на мне этот простой и свободный покрой. Меня это трогало. Тони был первым человеком, подарившим мне предмет одежды. Богатый папаша. (Епископ, мне кажется, ни разу в жизни не был в магазине.) Подарок выглядел несколько старомодно и был не лишен вульгарности, но безумно мне нравился. Надев блузку, я словно оказывалась в объятиях Тони. Каллиграфические бледно-голубые буквы на этикетке слагались в дышащие эротикой слова «дикий шелк ручная стирка». Ажурная вышивка украшала круглый вырез на шее и манжеты, а две складки на плече будто отражались в двух сборках на спине. Этот подарок казался мне символом нашей любви. Я возвращалась в свое кембриджское пристанище, стирала блузку в раковине, гладила и бережно складывала, так чтобы она была готова к следующей встрече. Как и я сама.

Однако в тот сентябрьский день – мы находились в спальне, и я собирала вещи – Тони прервал разговор, точнее, монолог об Иди Амине и Уганде, и велел мне положить блузку в бельевую корзину вместе с одной из его рубашек. Это было логично. Мы вскоре вернемся сюда, а экономка, миссис Траверс, на следующий день придет в дом и заберет белье. Фрида Каннинг уехала на десять дней в Вену. Я хорошо запомнила эту минуту, потому что слова Тони были мне очень приятны. Уютно было сознавать, что наша любовь вошла в некую колею, что ее принимают как данность, по меньшей мере на несколько дней. В Кембридже мне часто бывало одиноко, и я долгими часами ждала звонка Тони, ждала, когда

зазвонит в коридоре телефон. Возвысившись на пару мгновений до положения жены, я приподняла крышку плетеной корзины, бросила блузку поверх рубашки и забыла о ней. Трижды в неделю в дом приходила Сара Траверс из соседней деревни. Однажды мне довелось провести с ней полчаса – мы чистили зеленый горошек на кухне и с удовольствием болтали: Сара рассказала мне о сыне, который стал хиппи и уехал в Афганистан. Она говорила об этом с гордостью, как будто он уехал воевать за отечество. Мне не нравилось об этом думать, но допускаю, что она встречала в домике Каннинггов целую процессию подружек Тони. Впрочем, ей это, наверное, было безразлично, коль скоро она получала жалованье.

Прошло четыре дня в комнате на Джизус-грин, а от Тони ничего не было слышно. Я прилежно штудировала фабричное законодательство и хлебные законы и читала «Таймс». Я видела, как мимо окон проходят мои приятели, но не смела отдалиться от телефона в коридоре. На пятый день я отправилась в колледж Тони, оставила у привратника записку и поспешила домой, опасаясь пропустить его звонок. Я не могла позвонить ему сама – мой любовник предусмотрительно не оставил мне свой домашний номер. Он позвонил мне вечером. Говорил совершенно ровным голосом. Не поздоровавшись, он велел мне на следующее утро в десять быть на автобусной остановке. Не успела я выдавить из себя горестный вопрос, как Тони повесил трубку. Разумеется, ночью я почти не спала. Поразительно, что, лежа с открытыми глазами, я тревожилась о нем, хотя на плахе лежала моя глупая голова.

На рассвете я приняла ароматизированную ванну. К семи утра была готова. Упаковала в сумку – как полная дура – белье, которое ему нравилось (черное, конечно, и лиловое), и кеды для прогулок в лесу. Я была на автобусной остановке уже в двадцать пять минут десятого, опасаясь, что он приедет раньше и расстроится, не увидев меня. Он приехал около четверти одиннадцатого. Толчком открыл дверь со стороны пассажира, я влезла в машину, но поцелуя не последовало. Он вцепился в руль и резко отъехал от обочины. Мы проехали километров пятнадцать, но он не вымолвил ни слова. Костяшки его пальцев побелели от напряжения, он смотрел только на дорогу перед собой. В чем дело? Тони не отвечал. Я была на грани истерики из-за его молчания, из-за того, как он вел свой маленький автомобиль, резко меняя полосы, безрассудно обгоняя других на подъемах и спусках, будто предупреждал меня о надвигавшейся буре.

На кольцевой развязке, сделав петлю, он поехал обратно в сторону Кембриджа, потом съехал на стоянку у шоссе А-45 – на замусоренной, промасленной траве стоял киоск, где путники (обычно водители грузовиков) покупали хот-доги и гамбургеры. Сейчас, утром, будка была закрыта ставнями и заперта на амбарный замок, и на стоянке оказалось пусто. Стоял неприятный день в конце лета – солнечный, ветреный, пыльный. Справа от нас тянулась аллея обожженных автострадой деревцев платана, за ними ревело шоссе. Словно стоишь на обочине гоночного автодрома. В длину стоянка насчитывала метров двести. Он пошел вдоль нее, а я – следом. Приходилось почти кричать.

– Что ж, твой милый трюк провалился, – вымолвил он наконец.

– Какой трюк?

Я окинула мысленным взглядом недавнее прошлое. Ввиду отсутствия трюков во мне вдруг блеснула надежда, что это простое недоразумение, которое мы решим в считанные секунды. Может быть, мы даже посмеемся над собой, подумалось мне. Может быть, нам доведется лечь в постель еще до полудня.

Мы почти достигли выезда со стоянки на шоссе.

– Пойми, – сказал он, и мы остановились. – Тебе никогда не удастся встать между мной и Фридой.

– Тони, какой трюк?

Он снова повернулся и пошел в направлении машины, а я пошла за ним.

– Чертово наваждение. – Он говорил сам с собой.

– Тони! Скажи же, в чем дело! – Я пыталась перекричать шум шоссе.

– Ну что, ты довольна? Вчера вечером у меня произошла худшая ссора с женой за двадцать пять лет. Ты разве не рада успеху?

Даже я, несмотря на свою неопытность, изумление и ужас, понимала нелепость происходящего. Он, впрочем, собирался говорить дальше, так что я в ожидании

промолчала. Мы миновали его машину и закрытую будку. Справа от нас оказались высокие пыльные кусты боярышника. В колючих ветках трепались весело раскрашенные конфетные обертки и хрустящая упаковка. На траве валялся использованный кондом, смехотворно длинный. Чудесное местечко для окончания романа.

- Сирина, как же ты могла поступить так глупо?

Я и вправду чувствовала себя глупо. Мы снова остановились, и я сказала дрожащим, не слушавшимся меня голосом:

- Я честно ничего не понимаю.

- Тебе хотелось, чтобы она нашла твою блузку. Ну так она нашла твою блузку. Ты думала, что она придет в ярость, и ты оказалась права. Тебе казалось, что ты можешь разрушить мой брак и занять ее место, но ты ошиблась.

Несправедливость обвинений ошеломила меня, и мне было сложно говорить. Где-то у корня языка перехватило горло. Я быстро отвернулась, чтобы он не заметил слез (если они и были).

- Разумеется, ты молода и все такое. Но можно было бы постыдиться.

Мой вновь обретенный, скрипучий и умоляющий голос показался мне отвратительным:

- Тони, ты сам велел мне положить блузку в твою корзину.

- Ну да, ну да. Ты же знаешь, что я ничего такого не говорил.

Он сказал это тихо, почти ласково, как заботливый отец, которого я вот-вот потеряю. По логике событий, между нами должна была произойти ссора, хуже, чем между ним и Фридой, мне следовало бы наброситься на него. К сожалению, мне казалось, что я вот-вот расплачусь, а я была полна решимости этого не допустить. Меня непросто довести до слез, и к тому же плакать я предпочитаю в одиночестве. Однако меня ранили его мягкие, изысканно артикулированные, не терпящие возражений упреки. Он говорил так уверенно и по-доброму, что я чуть

было ему не поверила. Мне было ясно, что ничто в мире не заставит его изменить свое мнение о том, что именно произошло в прошлое воскресенье, и отказаться от намерения расстаться со мной. Понятно было и то, что я нечаянно могу повести себя так, будто я в чем-то виновата. Как воришка в магазине, рыдающий слезами облегчения оттого, что его поймали. Какая несправедливость, какая безысходность. Я была не в состоянии сказать что-либо в свою защиту. Часы ожидания у телефона и бессонная ночь меня сломали. Комок в горле продолжал сжиматься, шея напряглась, губы растянулись в судорожной полуулыбке. Я готова была сорваться, но удержалась – нет, не сейчас, не перед ним, не тогда, когда он так трагически не прав. Единственным способом сохранить достоинство и унять дрожь оставалось молчание. Вымолвить слово означало бы уступить, сломаться. Мне отчаянно хотелось говорить. Мне нужно было сказать ему, что он несправедлив, что он бездумно бросается нашими отношениями из-за простого сбоя в памяти. Как это часто бывает, мой разум хотел одного, тело – другого. Все равно что хотеть секса на экзамене или страдать от тошноты на свадьбе. Чем дольше я пыталась совладать со своими чувствами в молчании, тем больше я себя ненавидела, и тем спокойнее становился он.

– Это удар в спину, Сирина. Я думал, ты не настолько глупа. Мне непросто говорить об этом, но я страшно разочарован.

Он все продолжал говорить, пока я стояла, повернувшись к нему спиной. Как он мне верил, воодушевлял меня, возлагал на меня большие надежды, а я его подвела. Должно быть, ему было легче говорить мне в затылок, не смотреть мне в глаза. Я стала подозревать, что речь идет не о банальной ошибке, не об обычном провале в памяти занятого, важного пожилого мужчины. Я думала, что теперь понимаю все правильно. Фрида вернулась из Вены раньше времени. По какой-то причине, может быть из-за мерзкой догадки, она поехала в домик в Суффолке. Или они поехали вместе. В спальне лежала моя выстиранная блузка. Затем последовала сцена в Суффолке или в Лондоне и ее ультиматум – избавиться от девчонки или убраться. Тони сделал очевидный выбор. Но вот в чем загвоздка. Он принял и другое решение. Он решил показать, что он обижен, обманут, исполнен праведного гнева. Он убедил себя в том, будто ничего не говорил мне о белье в корзине. Воспоминание оказалось стерто – и не без причины. Но теперь он даже не знал, что стер его. Он даже не притворялся. Он поверил в справедливость своего негодования. Он и вправду думал, что я поступила безобразно и подло. Он не допускал и мысли, что сам он мог поступить иначе. Слабость, самообман, сомнение? Несомненно, но еще и помутнение рассудка. Кафедра, монографии, правительственные комиссии –

какая всему этому цена? Рассудок его был помрачен. Мне казалось, что у профессора Каннинга серьезное психическое расстройство.

Я нащупала салфетку в заднем кармане тугих джинсов и высморкалась с печальным звуком автомобильного гудка. Я по-прежнему не могла заставить себя говорить.

- Ты ведь знаешь, что это означает, правда? - продолжал Тони.

Все тем же тихим врачующим голосом. Я кивнула. Я знала это точно. Он мне сам сказал. Автомобиль-фургон, заехав на приличной скорости на стоянку, элегантно затормозил на полоске гравия у киоска. Из кабины громко разносилась эстрадная песенка. Вышедший из машины парень с хвостиком, в футболке, обнажавшей загорелые мускулистые руки, шваркнул в пыль у киоска два больших полиэтиленовых пакета с булочками для гамбургеров. Потом он уехал, взревев двигателем, и ветер отнес прямо на нас облачко голубого дыма. Да, меня бросили, как булочки для гамбургеров. Внезапно я поняла, почему мы здесь, на стоянке. Тони опасался сцены. Он не хотел, чтобы я зашла в истерику, сидя в его небольшом автомобиле. Как бы он выставил из машины рыдающую девицу? Так почему бы не объяснить здесь, у шоссе, откуда он сможет уехать, оставив меня на милость направляющихся в город попуток?

Почему я должна это терпеть? Я пошла от него к машине. Я знала, что мне делать. Мы можем оба остаться на стоянке. Вынужденный провести в моем обществе еще целый час, он, возможно, придет в чувство. Или нет. Не имело значения. Я знала, что мне делать. Дойдя до машины, я распахнула дверь со стороны водителя и вытащила из замка зажигания связку ключей. Вся его жизнь на кольце с брелоком, увесистая, деловая, мужская гроздь блестящих ключей - от кабинета в колледже, от дома, от второго дома, от почтового ящика, от сейфа и второго автомобиля и от других частей его существования, куда доступ мне был закрыт. Я размахнулась, чтобы зашвырнуть всю связку за кусты боярышника. Если он сумеет продраться сквозь заросли, то пусть поползает по полю, между коровами и лепешками дерьма, пусть поищет ключи от своей жизни, а я понаблюдаю.

После трех лет занятий теннисом в Ньюнеме я могла рассчитывать на силу своего броска. Но мне не довелось его совершить. В крайней точке замаха я почувствовала, как его пальцы сомкнулись вокруг моего запястья. Ключи он отнял за пару секунд. Он не был груб, а я не сопротивлялась. Чуть отстранив

меня, он молча сел за руль. Он уже достаточно сказал, а я только что подтвердила его худшие опасения. Вышвырнув из салона мою сумку, он хлопнул дверью и завел мотор. Ко мне вернулась способность говорить, но что я могла сказать? Я снова выглядела жалкой. Мне не хотелось, чтобы он уезжал. Я кричала глупости, надеясь, что они дойдут до него через полотняную крышу кабриолета: «Тони, перестань притворяться, будто ты не знаешь, как все было на самом деле».

До чего смешно! Конечно же, он не притворялся. В этом и была нестыковка. Он еще пару раз надавил на педаль газа, стремясь заглушить мои возможные возражения или мольбы. Затем тронулся с места – поначалу медленно, возможно, опасаясь, что я брошусь ему на ветровое стекло или под колеса. Однако я трагической дурой продолжала стоять на месте и смотрела, как он уезжает. Увидела, как загорелись тормозные огни его машины перед выездом на шоссе. Потом он исчез из виду, и все было кончено.

3

Я не стала отменять встречу в МИ-5. Теперь у меня в жизни не было больше ничего; из дома сообщили, что дела у Люси наладились, и даже епископ спрашивал о моих карьерных успехах и перспективах в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Спустя два дня после сцены на придорожной стоянке я отправилась на собеседование в здание на Грейт-Мальборо-стрит, на западной окраине Сохо. Я сидела и ждала на стуле с твердой спинкой, который в тускло освещенном коридоре с бетонным полом поставила для меня неприветливая секретарша. В таком гнетущем помещении я очутилась впервые. Надо мной тянулся ряд окон из кирпичей пузырчатого стекла и с железными рамами; такие окна нередко встретишь в подвалах. Однако свету проникать мешали не стеклянные кирпичи, а грязь. На ближайшем ко мне подоконнике лежали стопки газет, покрытых черной копотью. Я размышляла, не станет ли эта работа, если мне ее предложат, своего рода долгим наказанием, которое на расстоянии наложил на меня Тони. Вверх по лестничному колодцу поднимались сложные запахи. Я пыталась определить их источник. Духи, сигареты, чистящее средство с нашатырем и что-то органическое, может быть, некогда съедобное.

Мое первое собеседование проводила бойкая и дружелюбная женщина по имени Джоанна, и состояло оно в основном из заполнения анкет и ответов на простые биографические вопросы. Спустя час я вернулась в ту же комнату, где меня ожидали Джоанна и мужчина армейского типа по имени Гарри Тапп. У него были светлые усы щеточкой; он непрерывно курил, доставая одну сигарету за другой из тонкого золотого портсигара. Мне понравился голос с хрипотцой, старомодные интонации и то, как Тапп мягко барабанил по столу пожелтевшими пальцами правой руки всякий раз, когда заговаривал, и переставал это делать, когда слушал меня. Почти целый час мы трое пытались очертить мой служебный профиль. По существу, я была математиком с другими, подходящими для конторы интересами. Но почему я окончила университет с дипломом третьей степени? Я соврала, согласно плану, и сказала, что в последний год учебы совершенно безрассудно забросила занятия, так как увлеклась литературой по Советскому Союзу и трудами Солженицына. Господин Тапп с необычайным интересом выслушал рассказ о моих политических взглядах, которые я освежила в памяти накануне, прочитав старые записки, надиктованные моим ушедшим любовником. Если не считать учебы в университете, моя личность была изобретена мной исключительно на основе летних месяцев, которые я провела в обществе Каннинга. Что у меня было еще? Иногда я и была самим Тони. Как оказалось, я питала страсть к сельской Англии, в частности к графству Суффолк, а также к славному дремучему лесу, где любила гулять и по осени собирать белые грибы. Джоанна разбиралась в грибах, и пока Тапп нетерпеливо слушал, мы быстро обменялись рецептами. Она, впрочем, никогда не слыхала о панчетте. Тапп спросил, интересовалась ли я когда-нибудь шифрованием. Нет, но я призналась, что остро интересуюсь современным политическим положением. Мы наспех обсудили горячие темы дня – забастовки шахтеров и докеров, Общий рынок, бойню в Белфасте. Я говорила языком передовицы «Таймс», будто подражая патрицианским вдумчивым комментариям, которым сложно возразить. К примеру, когда мы перешли к теме растущей вседозволенности, я процитировала статью «Таймс» о том, что сексуальная свобода личности должна быть уравновешена с потребностями детей в безопасности и любви. Кто мог бы возразить против такого? Я будто оседлала своего любимого конька. Затем разговор перешел на мое увлечение английской историей. Гарри Тапп вновь восторженно воскликнул: что именно меня интересует? Славная революция. Ах вот как, это действительно очень интересно! А, вот еще, мой герой? Я упомянула Черчилля, но не как политика, а как историка (сказала о его несравненном описании Трафальгарской битвы); я восхищалась им как писателем, Нобелевским лауреатом по литературе, а также как художником-акварелистом. В частности, мне очень нравился его малоизвестный этюд «Сушащееся белье в Марракеше», который, насколько мне было известно,

находится теперь в частной коллекции.

Повинуясь течению беседы, я добавила к автопортрету страсть к шахматам, не упомянув, что не играла уже более трех лет. Тапп спросил меня, знакома ли я с эндшпилем Зильбера – Таля 1958 года. Я не знала это окончание, но смогла сказать несколько фраз о знаменитой позиции Сааведры. По правде говоря, никогда в жизни я не была такой умной, как во время этого собеседования, и уж точно ни разу со времени моих статей в «?Квис?» я не была настолько довольна собой. Вряд ли существовала тема, которую я не могла бы осветить. Своей неосведомленности в тех или иных вопросах я придавала своеобразный лоск. Мой голос был голосом Тони, я говорила, как ректор колледжа, как председатель правительственного комитета по расследованиям, как сельский эсквайр. Служить в МИ-5? Да я была готова возглавить контрразведку. Поэтому меня не удивило, что после того, как меня попросили покинуть кабинет, а потом через пять минут позвали обратно, господин Тапп сказал, что готов предложить мне место. Что, собственно говоря, ему оставалось сделать?

Несколько мгновений я не могла поверить своим ушам. Наконец, когда до меня дошел смысл сказанного, я подумала, что он издевается или меня испытывает. Мне предстояло занять должность помощника референта. Я уже знала, что в иерархии государственной службы это самая низкая должность. Мои должностные обязанности заключались в оформлении документов, их подшивке, индексировании и другой канцелярской работе. Со временем и при условии безупречной службы я могла стать референтом. Мне удалось удержаться от того, чтобы выказать обуревавшие меня чувства. Я (или Тони) совершила ужасную ошибку. Или, напротив, таково наказание, которое Тони для меня предназначил. Меня принимали на подсобную работу в канцелярии. Я не стану разведчиком, не будет никакой работы на передовой. Притворившись, что мне льстит предложение, я осторожно осведомилась у Джоанны, и та подтвердила мои подозрения: действительно, у мужчин и женщин – разные карьерные возможности, и только мужчины становятся референтами. Ну конечно, сказала я, конечно, мне это было известно, я ведь строила из себя умную молодую женщину, эдакую всезнайку. Гордость не позволяла мне показать им, как тяжело я ошиблась и как расстроена. Будто со стороны я услышала, что с радостью принимаю предложение. Замечательно! Спасибо! Мне назначили день, когда я смогу приступить к работе. Только этого и жду! Мы встали, и господин Тапп пожал мне руку, а потом степенно удалился. Джоанна проводила меня вниз до выхода и объяснила, что предложение со стороны конторы должно пройти обычные процедуры проверки. Если я приму предложение, то буду работать в здании на Керзон-стрит. Я обязана подписать соглашение о соблюдении закона

о государственной тайне. Разумеется, продолжала говорить я, замечательно. Спасибо.

Здание я покидала в крайне мрачном настроении. Еще до того, как попрощаться с Джоанной, я решила не принимать их предложение. Оно было оскорбительным. Работать на секретарской должности за две трети принятого для подобных должностей жалованья! Официанткой, учитывая чаевые, я бы зарабатывала вдвое больше. Пусть оставят работу себе. Я напишу им записку. По крайней мере, это было решено. Вконец расстроенная, я не знала, что делать дальше. Деньги, отложенные на оплату кембриджской комнатки, скоро закончатся. Мне не оставалось ничего, кроме как вернуться в родительский дом, снова стать дочерью, ребенком. Снова столкнуться с безразличием епископа и организаторским рвением матери. Хуже того, на меня вновь накатило чувство утраты. Весь последний час я будто играла роль Тони и теперь перебирала в уме воспоминания о нашем летнем романе. Я впервые до конца осознала всю меру своего горя. Это было словно вы вели долгий разговор, а собеседник вдруг повернулся и ушел, оставив вас в состоянии совершенной опустошенности. Я скучала по Тони, и тосковала, и знала, что никогда его больше не увижу.

Подавленная, я медленно шла по Грейт-Мальборо-стрит. Предложение о работе и роман с Тони были точно две стороны монеты, воплощение моего летнего воспитания чувств. Все рассыпалось меньше чем за два дня. Он вернулся к своей жене и кафедре, а у меня ничего больше не было – ни любви, ни работы, только холод одиночества. Горе мое отягчалось воспоминаниями о том, как он на меня взъярился. Так несправедливо! Я бросила взгляд на противоположную сторону улицы и, по неприятному совпадению, поняла, что приближаюсь к псевдотюдоровскому фасаду универмага «Либертис», где Тони некогда купил мне блузку.

Сопротивляясь чудовищной тяжести в груди, я быстро свернула на Карнаби-стрит и смешалась с толпой. Скулящая гитара и аромат пачулей из расположенного в подвале магазинчика навели меня на мысли о сестре и о проблемах, поджидавших меня дома. На тротуаре стояли ряды вешалок с рубашками психоделических расцветок и военной формой с позументом а-ля «Сержант Пеппер». Товары для обывателей, мечтающих раскрыть свою индивидуальность. Настроение у меня было скверное. Я пошла по Риджент-стрит, затем свернула налево и углубилась в Сохо, и теперь шагала по замусоренным улицам: на мостовой валялись остатки еды, недоеденные гамбургеры и хот-доги с потеками кетчупа, в водосточных желобах гнили

картонные коробки, у фонарных столбов толпились мешки с мусором. Везде красными неоновыми буквами горели надписи «Для взрослых». В витринах на затянутых велюром подставках красовались кнуты, фаллоимитаторы, тубики эротических мазей, униженные гвоздями и стразами маски. Жирный дядька в кожаном жилете, вроде зазывалы в стриптиз-клубе, прокричал мне что-то из двери – слово, прозвучавшее не то как «той», не то как «ой». Кто-то засвистел мне вслед. Я пошла быстрее, стараясь не встречаться ни с кем глазами. Я по-прежнему думала о Люси. Несправедливо было связывать с ее именем этот квартал Лондона, но «дух свободы», который, в сущности, привел сестру к аресту и несчастливой беременности, привел и к возникновению этих магазинчиков (и, должна добавить, к моему собственному роману с пожилым женщиной). Люси много раз говорила мне, что наше прошлое – это ненужное бремя, что нам следует от всего отказаться. Многие так думали. В этом квартале сам воздух был словно пропитан развратом и мятежом. Однако благодаря Тони я теперь знала, с каким трудом была построена она – наша западная цивилизация со всеми ее недостатками. Да, мы страдаем от скверного управления, и свободы наши неполны. Однако в нашей части мира правители уже не обладают абсолютной властью, а дикость и грубость ограничены в основном сферой частной жизни. Что бы ни валялось под моими ногами на улицах Сохо, но мы поднялись из грязи. Соборы, парламенты, картины, суды, библиотеки и научные лаборатории – все это слишком дорого, чтобы взять и все разрушить.

Быть может, дело было в Кембридже и в совокупном воздействии на меня его древних зданий и подстриженных газонов, в осознании того, насколько время снисходительно к камню, или, быть может, мне не хватало юношеского задора ввиду благовоспитанности и строгости правил. Так или иначе, но бесславная революция оказалась не для меня. Мне не хотелось, чтобы в каждом городе были магазины интимных товаров. Я не хотела для себя жизни сестры и не хотела, чтобы историю бросали в костер. Отправиться в путешествие? Но мне хотелось путешествовать в обществе цивилизованных мужчин, подобных Тони Каннингу, которые принимали как аксиому значение законов и институтов и думали об их улучшении. Если бы только он захотел путешествовать со мной. Если бы только он не оказался такой дрянью.

Получасовая прогулка от Риджент-стрит до Чаринг-кросс-роуд предопределила мою дальнейшую судьбу. Я круто переменяла свое мнение и решила принять предложение работы, с тем чтобы ввести в свою жизнь некую упорядоченность, смысл и независимость. Возможно, в моем решении присутствовала и нотка мазохизма – как отвергнутая любовница, я не заслуживала лучшей участи, чем служба конторской крысой. А ничего больше мне не предлагали. Я могла

оставить за спиной Кембридж и навеваемые им воспоминания о Тони и затеряться в лондонских толпах – в этом было что-то приятно трагическое. Скажу родителям, что получила место в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Впоследствии выяснилось, что не было нужды так секретничать, но тогда все казалось мне приключением.

В тот же день я вернулась в свою комнатенку в Кембридже, написала хозяину записку и принялась собирать вещи. На следующий день я вернулась в отчий дом со всем своим нехитрым имуществом. Мать была несказанно рада и нежно меня обняла. К моему изумлению, епископ выдал мне двадцатифунтовую бумажку. И спустя три недели началась моя новая лондонская жизнь.

Была ли я знакома с Милли Тримингем – матерью-одиночкой, которая однажды стала генеральным директором всего ведомства? Впоследствии, когда стало разрешено говорить, что мы работали в МИ-5, мне часто задавали этот вопрос. Если он и вызывал во мне досаду, то потому, что за этим вопросом мне слышался другой, незаданный: почему, учитывая мои кембриджские связи и прошлое, я не приблизилась к ней по служебной лестнице и на малую ступень? Я поступила на работу спустя три года после Тримингем и, по правде говоря, начала службу по ее стопам – как она описывает ее в мемуарах: то же серое угрюмое здание в Мэйфер, тот же курсантский отдел в длинной, узкой плохо освещенной комнате, те же задания, одновременно бессмысленные и интригующие. Но когда я поступила на работу в 1972 году, среди девушек-новичков Тримингем уже была легендой. Нужно понимать, что нам тогда было за двадцать, а ей – уже хорошо за тридцать. Однажды мне указала на нее Шерли Шиллинг, моя новая подруга. Тримингем стояла в конце коридора, на фоне едва пропускавшего свет окна; под мышкой у нее была стопка папок, и она, казалось, обсуждала срочное дело с незнакомым мне человеком, который будто сошел с заоблачных высот власти. Она вела себя с ним совершенно непринужденно, почти как с равным, и, очевидно, имела право пошутить, что вызвало у собеседника короткий смешок, и он на долю секунды положил ей руку на локоть, как если бы говорил: удержите свои остроты, а то жизнь моя станет невозможной.

Мы, новички, восхищались ею; говорили, что Тримингем освоила премудрости канцелярии так быстро, что ее повысили меньше чем через два месяца после поступления. Кое-кто говорил – через несколько недель или даже дней. Нам казалось, что в одежде, которую она носила, был отсвет бунтарства – яркие цвета и платки, купленные в Пакистане, где она когда-то служила под

прикрытием. Так, по крайней мере, мы себе говорили. Нам следовало бы спросить у нее. Спустя десятки лет я прочитала в ее мемуарах, что в исламабадской конторе она занималась канцелярской работой. Мне до сих пор неизвестно, принимала ли она участие в так называемом женском восстании того года, когда женщины-стажеры в МИ-5 выступили за улучшение своих карьерных перспектив. Женщины требовали, чтобы им было позволено самим вести агентов, подобно референтам-мужчинам. Полагаю, что Тримингем с симпатией относилась к целям движения, но не слишком воодушевлялась перспективой коллективных действий, речей и резолюций. Не знаю, почему новости о «женском восстании» так и не дошли до членов нашего набора. Возможно, нас считали слишком юными. Кроме того, под воздействием духа эпохи сама контора медленно менялась. Однако Тримингем, пожалуй, была первой, кому удалось прорубить окно, выбиться за пределы женской резервации. Она сделала это тихо и с тактом. Остальные, то есть мы, шумно поспедали за ней. Я лично плелась в самом хвосте. Когда ее, наконец, перевели из подготовительного отдела на настоящую работу, ей пришлось столкнуться с грозным настоящим – с терроризмом Ирландской революционной армии, тогда как мы, оставшиеся в хвосте, по-прежнему вели старую войну с Советским Союзом.

Бо?льшая часть первого этажа здания была занята канцелярией – огромным банком памяти, где более трехсот девиц-секретарей из приличных семей трудились, как рабы на галерах, обрабатывали запросы, возвращали или перенаправляли их в адрес референтов в разных отделах, а также сортировали входящие материалы. Оттого что система канцелярии работала так исправно, она дольше всего сопротивлялась наступлению компьютерной эпохи. То был последний редут, подлинная тирания бумаги. Как молодой новобранец вынужден начинать армейские будни с чистки картофеля и отдраивания плац-парада зубной щеткой, так и я провела первые несколько месяцев, составляя списки членов провинциальных ячеек коммунистической партии Великобритании и заводя дела на тех членов и сочувствующих, которые еще не были учтены в нашей картотеке. В мое ведение входило графство Глостершир (Тримингем в свое время занималась Йоркширом). В первый месяц работы я завела дело на директора средней школы в городке Страуд, который однажды субботним вечером в июле 1972 года присутствовал на открытом заседании местной партийной ячейки. Он написал свое имя на листке бумаги, который раздавали его товарищи, однако позже, очевидно, решил в компартию не вступать. Его имени не было ни на одном из подписных листов, которые доставляли к нам в контору. Тем не менее я решила завести на него дело, потому что он был человек, который мог влиять на молодые умы. Это была моя

собственная инициатива, мое первое дело. Вот почему я запомнила его имя, Гарольд Темпелман, и год его рождения. Если бы Темпелман решил оставить преподавательскую стезю (ему было только сорок три) и перейти на государственную службу и в процессе исполнения должностных обязанностей мог получить доступ к секретной информации, то процедура проверки непременно привела бы инспектора к его досье. Тогда Темпелмана расспросили бы о том июльском вечере (уж конечно, на него бы это произвело впечатление) или же в его прошении о поступлении на работу было бы отказано, и он никогда бы не узнал почему. Замечательно. По крайней мере в теории. Тогда мы все еще изучали достаточно строгие протокольные процедуры, которые определяли приемлемость материала для заведения дела. В первые месяцы 1973 года само существование столь закрытой и исправно функционирующей системы, пусть и совершенно бессмысленной, служило мне утешением. Все мы, двенадцать девушек, работавших в этом помещении, прекрасно понимали, что агент, действующий по заданию советского центра, никогда не раскроется, вступив в ряды коммунистической партии Великобритании. Но мне на это было наплевать.

По пути на работу я частенько размышляла об огромном разрыве между описанием моих должностных обязанностей и реальностью. Я говорила себе – коль скоро не могла сказать этого никому другому, – что работаю на контрразведку. Слово это как-то по-особенному звенело. Даже теперь это немножко меня волнует – мысли о незаметной девушке, желавшей сделать что-то для родины. В действительности же я была еще одной конторской девицей в мини-юбке, стиснутой среди тысяч других людей в переходах подземки, например, на станции Грин-парк, где грязь и копоть, и миазмы подземных ветров портили нам прически (сегодня Лондон намного чище). И достигнув рабочего места, я по-прежнему оставалась конторской служащей, – печатала, сидя с прямой спиной, на огромном «Ремингтоне», в прокуренной комнате, подобно сотням тысяч других женщин в британской столице, что приносят папки, разбирают мужской почерк, спешат обратно на работу после обеденного перерыва. Даже жалованье у меня было меньше, чем у обычной конторской служащей. И точно так, как рабочая девушка из стихотворения Бетжемена, которое однажды прочитал мне Тони, я стирала свое нижнее белье в раковине, в углу своей комнатки.

Как у клерка низшего разряда, моя первая недельная зарплата после вычетов составляла четырнадцать фунтов и тридцать пенсов, согласно новой десятичной валюте, которая тогда еще казалась чем-то несерьезным, недоделанным, чуть ли не жульническим. Я платила четыре фунта в неделю за свою комнату и еще фунт за электричество. Затраты на проезд составляли чуть более фунта, так что

на еду и все остальное у меня оставалось восемь фунтов. Говорю об этом столь подробно не для того, чтобы пожаловаться, а следуя духу Джейн Остен, чьи романы я когда-то проглотила в Кембридже. Как понять внутреннюю жизнь персонажа, подлинного или вымышленного, не зная о состоянии его финансов? «Мисс Фрум, поселившаяся в крошечной квартирке в доме номер семьдесят по Сент-Огастинс-роуд на северо-западе Лондона, получала менее тысячи фунтов в год и пребывала в мрачном настроении». Так или иначе, я сводила концы с концами, но вовсе не ощущала себя частью блистательного мира шпионажа и разведки.

Все-таки я была молода, и мрачные мысли не могли угнетать меня подолгу. Моей приятельницей и спутницей во время обеденных перерывов и вечерних вылазок была Шерли Шиллинг, чье аллитеративное имя, напоминавшее о благонадежности старой британской валюты, будто резонировало с ее кривоватой ухмылкой и старомодной страстью к веселью. Уже в первую неделю она оказалась на плохом счету у нашей курившей, как паровоз, начальницы мисс Линг за то, что «слишком долго сидела в туалете». На самом деле Шерли спешно вышла из конторы в десять утра, чтобы купить себе платье на вечеринку, добежала до универмага «Маркс и Спенсер» на Оксфорд-стрит, нашла нужное платье, примерила, примерила следующий размер, расплатилась и вернулась обратно на автобусе – все за двадцать минут. В обеденный перерыв заниматься платьем она бы не смогла, потому что планировала купить туфли. Никто из нас, новеньких, на такое бы не осмелился.

Что можно о ней сказать? Происшедшие к тому времени изменения в культуре могли показаться достаточно глубокими, но, по правде говоря, они не срезали так называемые социальные антенны. За минуту, нет, даже меньше, после того, как Шерли произносила пару слов, человек сведущий уже узнавал о ее весьма скромном социальном происхождении. Отец ее владел магазином спальной мебели в Илфорде под названием «Мир кроватей». Она училась в огромной государственной средней школе, а потом окончила Ноттингемский университет. Она была первой в своей семье, кто продолжил школьное образование после шестнадцати лет. МИ-5, возможно, всего лишь желала продемонстрировать открытость своей политики как работодателя, однако Шерли оказалась уникалом. Она печатала на машинке в два раза быстрее, чем лучшие из нас. Ее память на лица, документы, разговоры, процедуры была острее нашей. Она задавала бесстрашные, интересные вопросы. Поистине, можно счесть знаком времени, что многие девушки в канцелярии ею восхищались – ее мягкий выговор лондонского кокни казался всем очень стильным. Ее голос и интонация напоминали нам о Твигги, или Ките Ричардсе, или Бобби Муре[7 - Твигги –

британская супермодель; Кит Ричардс – английский гитарист, выступавший в составе группы «Роллинг Стоунз»; Бобби Мур – английский футболист.]. Кстати, брат ее был профессиональным футболистом и состоял в резерве «Вулверхемптон уондерерс». Этот клуб, как нам было сказано, достиг финала недавно учрежденного кубка УЕФА. Шерли была экзотическим существом и олицетворяла уверенный в себе новый мир.

Некоторые девушки поглядывали на Шерли свысока, но никто из нас не обладал ее непринужденностью и хладнокровием. Многие из нашего набора вполне могли бы дебютировать при дворе королевы Елизаветы, если бы эта практика не была прекращена пятнадцать лет назад. Некоторые были дочерьми или племянницами служивших или отставных офицеров. У двух третей были дипломы почтенных британских университетов. Мы говорили похожими фразами, у нас были похожие интонации. Мы были уверены в собственном общественном положении и вполне смогли бы устроить раут в загородном доме. Однако нашему стилю и манере говорить была присуща нотка искательности, инстинктивное желание уступить, в особенности в тех случаях, когда в нашу сумеречную комнату входили старшие сотрудники так называемого эксколониального типа. Тогда большинство из нас (себя я, конечно, исключаю) становились принцессами потупленного взора и любезной улыбки. Девушки-новобранцы подыскивали себе порядочного мужа.

Шерли, однако, была беззастенчиво шумной и, не испытывая никакого желания выходить замуж, глядела каждому прямо в глаза. У нее была привычка, почти слабость искренне смеяться над собственными анекдотами – полагаю, не потому что она считала, что рассказывает очень смешно, а потому что ей казалось, что жить нужно празднично, и она хотела, чтобы другие разделяли ее веселье. Громкоголосые люди, в особенности женщины, всегда вызывают враждебность, и в конторе было несколько человек, которые от всей души ее презирали. Но в целом Шерли очень располагала к себе, и меня особенно. Возможно, ей помогало то, что она была не красавица. Она была крупной девушкой, и лишнего веса в ней было килограммов пятнадцать. Она носила шестнадцатый размер (я – десятый) и говорила, что нам следует именовать ее «стройной, как ива». И смеялась собственной шутке. Ее круглое, чуть одутловатое лицо спасало то, что оно всегда было оживлено. Наверное, ее самым большим природным достоинством было несколько необычное сочетание черных волос, вьющихся от природы, с бледными веснушками на переносице и серо-голубыми глазами. Ее улыбка всегда казалась чуточку скошенной вправо, что придавало ее лицу выражение совершенно неопишное, что-то между распушенностью и озорством. Несмотря на скудные средства, она успела поехать по миру больше,

чем кто-либо из нас. На следующий год после окончания колледжа Шерли автостопом, в одиночку добралась до Стамбула, сдала там кровь за деньги, купила мотоцикл, сломала ногу, ключицу и руку, влюбилась в доктора-сирийца, сделала аборт и вернулась домой из Анатолии в Англию на частной яхте, на борт которой ее взяли за то, что она согласилась побыть коком.

Однако с моей точки зрения, ни одно из ее приключений не было настолько необычным, как блокнот, который она всегда носила с собой, – детская, затянутая розовым пластиком вещица с коротким карандашом или карандашным огрызком, заткнутым в кольца переплета. Некоторое время она скрывала от меня содержимое блокнота, но однажды вечером в пабе в Масвел-хилле призналась, что записывает в него «умные, смешные или идиотские вещи», которые говорят люди. Она также записывала «крошечные рассказы о разных историях» или просто «мысли». Блокнот этот всегда лежал у нее под рукой, и, бывало, она строчила в нем посередине разговора. Другие девушки в конторе над Шерли посмеивались. Мне же было интересно, насколько далеко простирается ее писательское честолюбие. Я говорила с ней о книгах, которые читала, и хотя она всегда вежливо и даже внимательно меня слушала, собственное мнение она никогда не высказывала. Я даже не знала, любит ли она читать. Ну или она делала из этого большую тайну.

Жила Шерли всего в полутора километрах на севере от меня, в крошечной комнате на третьем этаже дома, выходившего окнами на громяющую Холлоуэй-роуд. Через неделю после знакомства мы стали встречаться по вечерам. Вскоре я обнаружила, что наша дружба заслужила нам в конторе прозвище – «Лорел и Харди», причем ссылка, в большей степени, относилась к нашим сравнительным габаритам, нежели к комическим проделкам. Я ничего не сказала об этом Шерли. Вечера, считала она, необходимо проводить в пабах, причем предпочтительно шумных и с музыкой. Заведения в квартале Мэйфер нисколько ее не интересовали, и спустя несколько месяцев после того, как завязалась наша дружба, я познакомилась с окружающим человечеством и степенями его растленности в пабах Камдена, Кентиш-тауна и Айлингтона.

Именно в Кентиш-тауне, во время нашего первого похода я стала свидетелем жуткой драки в ирландском пабе. В фильмах удар кулаком в челюсть выглядит банально, однако наблюдать его в действительности крайне необычно, хотя звук, этот костяной хруст, гораздо более приглушен и влажен. Для девушки из хорошей семьи все это выглядело безрассудством – полное непонимание последствий, отсутствие страха мести, равнодушие к жизни; днем эти люди

держат в руках кирку на стройке, а вечером их кулаки впечатываются в лицо ближнего. Мы наблюдали за дракой, сидя на высоких табуретах. Мне запомнилось, как что-то пролетело в воздухе по кривой траектории – то ли пуговица, то ли зуб. В потасовку вмешались другие, многие кричали, а бармен, судя по всему, проворный парень с вытатуированным чуть выше кисти кадуцеем, проговорил что-то в телефонную трубку. Шерли положила мне руку на плечо и повела к двери. Наши коктейли из рома и кока-колы с растаявшим льдом остались на стойке бара.

– Скоро явится полиция, им могут понадобиться свидетели, лучше нам уйти. – На улице мы вспомнили о пальто Шерли. – А, да забудь о нем, – сказала она, махнув рукой. И зашагала дальше. – Терпеть не могла это пальто.

Знакомство с мужчинами не входило в планы наших вечерних прогулок, однако мы много болтали – о семьях, о жизни. Она рассказывала о докторе-сирийце, я – о Джереми Мотте, но никогда о Тони Каннинге. Сплетни о жизни в конторе были строго запрещены даже для нас, смиренных новичков, и мы считали делом чести выполнять предписание. Кроме того, у меня создавалось впечатление, что Шерли выполняет более важную работу, чем я, поэтому с расспросами я не лезла. Иногда наш неспешный разговор в пабе прерывали подходившие к нам мужчины; они хотели познакомиться со мной, а вместо меня получали Шерли. Меня же вполне удовлетворяла роль молчаливого свидетеля. Парни обычно не преодолевали заслон из ее шуток и смеха, умных вопросов об их жизни и происхождении и вскоре отступали, заплатив за одну или две порции рома с колой. В хиппи-пабах близ Камден-лока, который тогда еще не был туристическим местом, длинноволосые мужчины отличались большей хитростью и настойчивостью, мягко и вкрадчиво несли ахинею, заговаривая о собственной «женственной душе», о коллективном бессознательном, о прохождении Венеры по диску Солнца и тому подобном. Шерли отваживала их с недоуменным дружелюбием, тогда как я готова была отпрянуть от этих напоминаний о жизни моей сестры.

В эту часть города мы ходили ради музыки; заходили по очереди в несколько пабов, двигаясь в сторону «Дублинского замка» на Парквей. Шерли, как мальчишка, обожала рок-н-ролл, а в начале семидесятых лучшие группы выступали в пабах, которые часто представляли собой пещерообразные заведения викторианских времен. Удивительно, но мне начала нравиться эта колоритная простоватая музыка. Дома было пусто и скучно, и было приятно заняться вечером чем-нибудь, отличным от чтения романов. Однажды, когда мы

узнали друг друга лучше, Шерли заговорила о своем типе идеального мужчины. Она поведала мне свои грезы – замкнутый сухощавый парень под два метра, джинсы, черная футболка, стриженные волосы, впалые щеки и гитара на груди. Должно быть, мы видели пару дюжин разновидностей этого типа в пабах, расположенных между Канви-айлендом и Шефердс-буш. Там же мы слушали самые разные группы – «Биз мейк хани» (моя любимая), «Регалатор» (ее), а также «Доктор Филгуд», «Дакс делюкс», «Килберн» и «Хай роудс». Совсем на меня не похоже – стоять в потной толпе, приняв два коктейля, и внимать звукам, раздирающим барабанные перепонки. Впрочем, я получала невинное удовольствие от мысли, как ужаснулась бы эта олицетворяющая «контркультуру» толпа, узнав, что мы – их заклятые враги, что мы приходим прямо из серого мира МИ-5. Лорел и Харди – авангард национальной безопасности.

4

В 1973 году, в конце зимы мать переслала мне письмо от моего старого приятеля Джереми Мотта. Он все еще жил в Эдинбурге, по-прежнему с удовольствием писал диссертацию и вел ту свою новую жизнь, которая пестрела наполовину засекреченными романами, причем каждый из них завершался, утверждал он, без особых треволнений или сожаления. Я прочитала письмо утром, по пути на работу: в тот день мне удалось, как ни странно, протиснуться через вонючую толпу в вагоне и даже сесть на освободившееся место. Важный для меня абзац начинался в середине второй страницы. Для Джереми это была лишь сплетня, пусть и многозначительная.

«Ты наверняка помнишь моего профессора Тони Каннинга. Однажды мы пили чай у него дома. В сентябре прошлого года он бросил свою жену, Фриду. Они состояли в браке более тридцати лет. По-видимому, он ничего ей не объяснял. По колледжу ходили слухи, что он сошелся с молодой, которую возил в свой летний домик в Суффолке. Но оказалось, что дело и не в этом. Более того, по слухам, он ее тоже оставил. В прошлом месяце мне написал друг. Сам он услышал об этом деле от директора колледжа. Похоже, что в колледже всем все было известно, но мне никто не сообщил. Каннинг был болен. Зачем скрывать? У него было что-то скверное, неизлечимое. В октябре он отказался от ставки и уехал на какой-то остров в Балтийском море, где снял небольшой дом. За ним ухаживала местная женщина, и поговаривали, что она была больше, чем

прислуга. Незадолго до смерти его поместили в сельский госпиталь на другом острове. Там Тони посетили его сын и Фрида. Полагаю, ты не читала некролог в февральском «Таймс». Я уверен, что в противном случае ты бы мне написала. Не знал, что в конце войны он служил в УСО![8 - Управление специальных операций – британская диверсионно-разведывательная служба времен Второй мировой войны.] Настоящий герой – десантировался с парашютом где-то в Болгарии, ночью; попал в засаду, получил серьезное ранение в грудь. Позже, в конце сороковых четыре года прослужил в МИ-5. Поколение наших отцов – их жизнь была куда осмысленнее нашей, тебе так не кажется? Тони был необычайно добр ко мне. Жаль, что мне не сообщили. По крайней мере, я бы ему написал. Может быть, приедешь меня приободрить? У меня есть уютная гостевая комнатка, рядом с кухней. Правда, я тебе об этом уже писал, кажется».

Зачем скрывать? Рак. В начале семидесятых люди только недавно перестали понижать голос, произнося это слово. Рак был позором – жертвы, разумеется; разновидностью личного провала, пятном и непристойным дефектом личности, а не плоти. В ту пору я, без сомнения, сочла бы желание Тони удалиться, встретить зиму наедине со своей неприятной тайной у холодного моря само собой разумеющимся. Песчаные дюны его детства, безжалостные ветры, болотца без единого деревца в глубине острова – и Тони, шагающий по пустынному берегу, сгорбившийся, кутающийся в куртку, в обнимку со стыдом, со своим скверным секретом, с нарастающим желанием вздремнуть. Сон подступает как прилив. Конечно, ему необходимо было одиночество. Ничто из этого не вызывало у меня вопросов. Однако меня поразила тщательность планирования. Велеть мне бросить блузку в бельевую корзину, потом притвориться, что забыл об этом, стать для меня отвратительным, дабы я не последовала за ним и не усложнила его последние месяцы. Так ли необходима была эта изощренность? Или суровость?

По пути на работу я покраснела, вспомнив, что мне казалось, будто мои суждения о чувствах тоньше его. Я покраснела и сразу расплакалась. Пассажиры, стоявшие рядом со мной в заполненном вагоне метро, деликатно отвернулись. Должно быть, он знал, сколько всего мне придется переосмыслить, когда я узнаю правду. Быть может, некоторым утешением служила мысль о том, что я прощу его. Все это было очень печально. Но почему он не оставил посмертного письма, не объяснился, не вспомнил что-то из наших летних месяцев, не простился, не поблагодарил меня, не подарил ничего на память, не дал мне ничего, что могло бы сгладить ужас нашей последней сцены? На протяжении многих недель я мучила себя мыслями о том, что прощальное письмо могли перехватить экономка или Фрида.

Тони в изгнании, бредущий по пустынному берегу, без брата, сопровождавшего его в беспечные годы детства, – Теренс Каннинг был убит во время десанта в Нормандии, – без своей кафедры, без друзей, без жены, наконец, без меня. За Тони могла бы ухаживать Фрида. Он мог бы умирать в загородном доме или в городской спальне, со своими книгами, и его посещали бы друзья и сын. Даже я могла бы как-нибудь проникнуть к нему, выдав себя за бывшую студентку. Цветы, шампанское, семья и старинные друзья, старые фотографии – не так ли людям надлежит умирать, по крайней мере, если они не задыхаются, не корчатся от боли или не парализованы страхом?

В последующие недели я проигрывала в уме десятки эпизодов нашего лета. Ему всегда хотелось спать днем, а я бывала такой нетерпеливой, его серое утреннее лицо, на которое невыносимо было смотреть. В то время мне казалось, что это свойство возраста, что так всегда бывает, когда вам пятьдесят четыре. В частности, я все время возвращалась к одному эпизоду – к тем нескольким мгновениям в спальне у бельевой корзины, когда он рассказывал мне об Иди Амине и изгнанных из Уганды «азиатах». Тогда эта история наделала много шума. Кровавый диктатор выселял из страны наших соотечественников. У них были британские паспорта, и правительство Теда Хита, пренебрегая яростью таблоидов, настаивало, причем вполне справедливо, на том, что этим людям должно быть предоставлено право поселиться в Великобритании. Так считал и сам Тони. Он прервал себя на полуслове и, не переводя дыхание, быстро сказал: «Просто брось блузку в корзину поверх моей рубашки, мы скоро сюда вернемся». Обычное бытовое указание. Он продолжил говорить. Ну не было ли это чудом изобретательности, учитывая, что тело переставало ему повиноваться, и он уже планировал свой уход? Выбрать минуту, улучшить момент, возможность и немедленно за нее ухватиться или, наоборот, действовать интуитивно и домыслить сценарий позже. Возможно, это был даже не трюк, а привычка ума, выработанная во время службы в УСО, скажем так, трюк ремесла. Посредством хитро продуманного хода он выбросил меня из жизни, а я была слишком оскорблена, чтобы бежать за ним. Не знаю, действительно ли я любила его в те летние месяцы, но, получив весть о его смерти, убедила себя, что это была любовь. А тогда мне казалось, что его хитрость, обман гораздо страшнее, чем любовная связь женатого мужчины. Но даже и тогда я восхищалась его изобретательностью, хотя и не могла его простить.

Я отправилась в Холборнскую публичную библиотеку, где хранится архив «Таймс», и нашла некролог. Как идиотка, я пробежала его глазами в поисках собственного имени, а потом стала читать заново. Вся жизнь в нескольких

колонках текста, даже без фотографии. Драгунская школа в Оксфорде, Мальборо-колледж, затем оксфордский Баллиол-колледж, служба в гвардии, боевые действия в Западной Сахаре, необъяснимый пробел в биографии, а потом уже УСО, как описывал мне Джереми, и четыре года в спецслужбах, начиная с 1948-го. Насколько же я была нелюбопытна, не интересовалась жизнью Тони в военные и послевоенные годы, хотя и знала, что у него хорошие связи в МИ-5. В некрологе кратко говорилось о его жизни в пятидесятые и позже – журналистика, книги, общественное служение, Кембридж, смерть.

Между тем в моей жизни ничего не изменилось. Я ходила на работу в здание на Керзон-стрит и одновременно поддерживала огонек в святилище моего тайного горя. Тони выбрал для меня профессию, подарил мне свои леса, грибы, мнения, светскость. Но у меня не было доказательств, никаких памятных знаков, ни единой его фотографии, не было писем, ни даже клочка бумаги с его запиской, потому что о встречах мы договаривались по телефону. Я добросовестно возвращала ему все книги, которые он мне давал почитать, за исключением одной – труда Ричарда Тоуни «Религия и рост капитализма». Теперь я искала ее повсюду, подолгу и тщетно осматривала комнату. У книжки был выцветший от солнца картонный переплет; на обложке инициалы автора окружало пятно от кофейной чашки; на титульном листе было красными чернилами царственно выведено «Каннинг»; и дальше почти на каждой странице встречались его пометки на полях твердым карандашом. Великая драгоценность. Однако она растворилась, исчезла, как исчезают только книжки, возможно, я оставила ее на Джизус-грин, когда переезжала из Кембриджа. Все, что у меня от него осталось, это беспечно отданная мне закладка, о которой речь пойдет ниже, и моя работа. Он определил меня в мерзкую комнату в Леконфилд-хаусе. Мне там не нравилось, но таково было его наследие, и, пожалуй, я не смогла бы работать нигде больше.

Упорная работа, отсутствие жалоб, смирение перед лицом нареканий и насмешек мисс Линг – так я поддерживала огонь памяти. Я считала, что подведу его, если не буду исполнительницей, опоздаю на работу, посетую на свою тяжкую долю или стану подумывать о том, чтобы уйти из МИ-5. Я убедила себя в том, что стою на руинах великой любви, и только бередила рану. Акразия! Каждый раз, когда я с особым тщанием и усердием переводила закорючки одного из референтов в чистый машинописный меморандум через три копирки, я думала о том, что отдаю долг памяти человеку, которого любила.

В нашем наборе оказалось двенадцать человек, включая троих мужчин. Двое были женатыми бизнесменами за тридцать и ни для кого не представляли интереса. Был и третий парень, по фамилии Грейторекс, которого честолюбивые родители нарекли Максимилианом. Ему было около тридцати, он обладал торчащими ушами, и его отличала исключительная сдержанность, то ли от природной скромности, то ли от чувства превосходства – никто не мог сказать точно. Грейторекса перевели к нам из МИ-6, и он уже имел статус референта; с нами, новобранцами, он сидел только для того, чтобы понять, как работает канцелярия. Двое других мужчин, смахивавших на бизнесменов, также ожидали повышения. Каковы бы ни были мои чувства при устройстве на работу, теперь я не испытывала к конторе неприязни. В течение нашего довольно-таки хаотического курса обучения я постепенно прониклась атмосферой этого места и, перенимая мнения других девушек, почти согласилась с тем, что в этом мирке, в отличие от большинства государственных ведомств и учреждений, женщины принадлежат к низшей касте.

Мы проводили все больше времени в канцелярии, постигая строгие законы документооборота, но при этом нам не говорили, что существуют концентрические круги допуска к секретной информации и что мы находимся в полной тьме, где-то на задворках. Бодро лязгающие, капризные тележки по рельсам доставляли документы в различные отделы по всему зданию. Как только одна из тележек выходила из строя, Грейторекс чинил ее с помощью набора миниатюрных отверток, которые всегда носил при себе. Кто-то из надменных девушек прозвал его за это «рукастым», тем самым отказывая ему в перспективе. Для меня, впрочем, это не имело значения, потому что, даже несмотря на траур, я начала проявлять интерес к Максимилиану Грейторексу.

Иногда вечером нас «приглашали» прослушать лекцию. Отказаться было немисливо. Тема лекции неизменно соотносилась с коммунизмом, его теорией и практикой, геополитической борьбой и неприкрытым стремлением Советского Союза достичь мирового господства. Рассказывая, я пытаюсь сделать эти лекции чуть более интересными, чем они были в действительности. Собственно, теории в них было больше всего. Читал нам бывший офицер королевских ВВС некто Арчибальд Джоуэлл, который и сам прослушал похожий курс, возможно, во время заочного обучения, и теперь всю стремился поделиться с нами знаниями о диалектике. Если закрыть глаза, как поступали многие из нас, можно было вообразить, что находишься на собрании местной ячейки компартии где-нибудь в Страуде, так как в намерения Джоуэлла не входило развенчивать марксистско-ленинское учение или даже проявлять скепсис. Он хотел, чтобы мы поняли врага «изнутри» и досконально знали его теоретическую основу. На

большинство стажеров, утомленных целым днем машинописной рутины и попытками угадать, что творится в уме свирепой мисс Линг, страстные речи Джоуэлла оказывали снотворное действие. Слушательницы опасались, что склоненная голова и сомкнутые веки могут повредить их дальнейшей карьере. Однако к вечеру у век своя логика, свой особый вес.

Так почему же, в отличие от других девиц, я по целому часу высидывала прямо и неусыпно на краешке стула, скрестив ноги, прижав к голой коленке блокнот и записывая за лектором? Я была математик, а в прошлом играла в шахматы и, кроме того, была девушкой, нуждавшейся в утешении. Диалектический материализм казался мне безопасной замкнутой системой, подобно процедурам проверки в нашем ведомстве, но гораздо более строгой и изощренной, как уравнение Лейбница или Гильберта. Человеческие стремления, общество, история и аналитический метод – все укладывалось в выразительную, нечеловечески совершенную, подобно фуге Баха, систему. Кто же может спать на таких лекциях? Однако спали все, кроме меня и Грейторекса. Он сидел впереди меня на расстоянии хода конем, если представить аудиторию в виде шахматной доски, и обозревая с моего места страница его блокнота была исписана закругленным почерком.

Однажды я отвлеклась от лекции и принялась изучать соседа. При ближайшем рассмотрении оказалось, что его пунцово-красные уши торчат из-за странных костных выступов по обеим сторонам черепа. Впечатление нелепости усиливалось еще и старомодной прической – классической военной стрижкой сзади и на висках, обнаруживавшей глубокую бороздку на затылке. Грейторекс напомнил мне Джереми и, что было менее приятно, некоторых математиков на младших курсах в Кембридже, тех, кто измывался и унижал меня на семинарах. Впрочем, выражение его лица было обманчиво: он отличался стройностью и атлетическим телосложением. В мыслях я дорисовывала ему волосы, так чтобы они скрывали промежуток между кончиками ушей и головой и, в частности, прикрывали его воротник, что в то время разрешалось уже и в Леконфилд-хаусе. Горчичного цвета клетчатый твидовый пиджак также подлежал устранению. Даже с того места, где я сидела, мне было видно, что узел его галстука слишком мал. Нужно было, чтобы в конторе его называли Максом; нужно было, чтобы он убрал подальше свои отвертки. Он писал коричневыми чернилами – это тоже следовало изменить.

– Итак, возвращаюсь к своему первоначальному тезису, – заключил капитан ВВС в отставке Джоуэлл. – В конечном итоге, величие и стойкость марксизма, как и

любого другого теоретического построения, основывается на его способности соблазнять умных мужчин и женщин, и подобному искушению это учение действительно может вас подвергнуть. Спасибо.

Осоловелые студенты поднялись с мест и уважительно проводили лектора. Когда он ушел, Макс повернулся и посмотрел на меня. Наверное, вертикальная бороздка у основания его черепа обладала телепатической чувствительностью. Он словно знал, что я полностью перерисовала его портрет.

Я отвернулась. Он указал на авторучку у меня в руке.

- Подробные конспекты?

- Это было восхитительно, - сказала я.

Он было начал что-то говорить, но затем передумал, с нетерпеливым жестом отвернулся от меня и вышел из аудитории.

Все же мы подружились. Я уже говорила, что он напоминал мне Джереми, и лениво думала, что он предпочитает мужчин, хотя и надеялась, что ошибаюсь. Мне не следовало ожидать, что он когда-либо заговорит со мной об этом, особенно в конторе. В мире спецслужб гомосексуалистов презирали, по крайней мере внешне, поскольку они были уязвимы для шантажа, а значит, не подлежали приему на службу в разведку и контрразведку, и следовательно, заслуживали презрения. Однако мои грезы о Максе, по крайней мере, могли означать, что я постепенно избавляюсь от горестных мыслей о Тони. А Макс (так, пыталась я внушить коллегам, его следовало называть) был достойным кандидатом. Поначалу мне казалось, что мы можем гулять по городу вместе с Шерли, втроем, но Шерли сказала, что он ее пугает и не заслуживает доверия. Да к тому же он не любил пабы, сигаретный дым и громкую музыку, так что мы часто сидели после работы на скамейках в Гайд-парке или на Беркли-сквер. Он не мог говорить об этом, и я, конечно же, не спрашивала, но мне казалось, что некоторое время он работал в Челтнеме, в радиоэлектронной разведке. Ему было тридцать два, и он жил один в крыле большого родового дома близ Эгема в излучине Темзы. Макс неоднократно приглашал меня в гости, но все это было несколько расплывчато, так что я так и не собралась к нему съездить. Он происходил из семьи ученых, учился в Винчестере и Гарварде (где получил диплом юриста, а затем и диплом по психологии); все же ему казалось, что он

заялся в жизни не тем, что ему следовало бы изучать что-то практическое, например инженерное дело. Когда-то он даже хотел стать подмастерьем у женевского часовщика, однако родители его отговорили. Его отец был философ, мать – социальный антрополог, а Максимилиан был их единственным ребенком. Они хотели для него жизни ученого и интеллектуала и не считали, что ему следует работать руками. После недолгого и нудного периода преподавания на краткосрочных курсах, после нескольких лет вольной журналистики и путешествий, благодаря знакомству с деловым партнером своего дядьки он поступил на службу в нашу контору.

Весна в тот год выдалась теплая, и наша дружба расцветала вместе с деревьями и кустарниками, окружавшими парковые скамейки. В начальную пору нашего знакомства я, забегаая вперед, довольно бестактно спросила его, не могло ли давление ученых родителей стать причиной его исключительной застенчивости. Вопрос этот обидел Макса, словно я оскорбила его семью: у него было типично английское неприятие психологических объяснений. Он сухо ответил, что не признает за собой этого свойства. Если он и сдержан с незнакомцами, то это только потому, что ему кажется благоразумным держаться настороже до тех пор, пока он не поймет, с кем имеет дело, а с людьми, которых он знает и которые ему нравятся, он совершенно нескован и спокоен. Так оно и оказалось. Отвечая на его вполне вежливые и благожелательные вопросы, я рассказала ему обо всем – о своей семье, о Кембридже, о не слишком хороших оценках по математике в дипломе и о колонке в «?Квис?».

– Я слышал о колонке, которую ты вела в газете, – сказал он, к моему удивлению. А потом сделал комплимент: – Говорят, что ты прочитала все на свете, по меньшей мере, все стоящее. В общем, что ты дока в современной литературе.

Замечательно встретить человека, с которым можно было наконец поговорить о Тони. Макс даже слышал о нем в связи с какой-то правительственной комиссией, учебником истории, да еще по какому-то поводу – кажется, имевшему отношение к спорам о государственной поддержке искусства.

– Как, говоришь, назывался его остров?

У меня произошел сбой в памяти. Я ведь хорошо помнила это название. Синонимичное смерти.

- Из головы вылетело, - сказала я.

- Финский? Шведский?

- Финский. Один из Аландских островов.

- Не Лемланд?

- Кажется, нет. Ну ничего, я вспомню.

- Скажи мне, когда вспомнишь.

Меня удивила его настойчивость.

- Почему это для тебя важно?

- Видишь ли, я довольно много путешествовал по Балтике. Десятки тысяч островов. Одна из самых охраняемых тайн современного туризма. Слава богу, что летом все мчатся на юг. Твой Каннинг, надо сказать, был человек со вкусом.

Мы оставили эту тему. Примерно месяц спустя мы сидели на Беркли-сквер, пытаюсь восстановить в памяти слова известной песни о певшем на площади соловье. Макс поведал мне, что он - пианист-самоучка. Он, оказывается, любил наигрывать эстрадные мелодии и душещипательные песенки сороковых и пятидесятых - музыку, такую же немодную, как его прическа. Я помнила эту песенку по школьному спектаклю. Мы не то напевали, не то наговаривали чудесные слова - «Я прав иль я не неправ / Но я готов поклясться / Когда ты появилась, улыбнувшись / Тот соловей...» - когда Макс запнулся и спросил меня:

- Остров Кумлинге?

- Да, точно. Откуда ты знаешь?

- Мне говорили, что он восхитительно красив.

- Мне кажется, Тони нравилась его обособленность.

- Должно быть, так.

Весна расцветала все ярче, а вместе с ней – и мое чувство к Макс, достигавшее накала наваждения. Когда я была не с ним, а, например, проводила вечер с Шерли, то чувствовала пустоту и беспокойство. И напротив, испытывала облегчение, вернувшись на работу, когда видела его голову, склоненную над бумагами через несколько столов от меня. Но этого, конечно, было недостаточно, и вскоре я начинала торопить нашу следующую встречу. Похоже, я действительно испытывала склонность к мужчинам, скажем так, неуклюжего, старомодного типа (Тони не в счет) – долговязым, худым, умным и образованным. В манере Макса было нечто отчужденное и строгое. Его всегдашняя сдержанность смущала меня, но и вызывала во мне странную восторженность. Меня беспокоило, что на самом деле я ему не нравлюсь, но он слишком вежлив, чтобы сказать мне об этом. Я предполагала, что он следует целому кодексу неких частных правил, тайным понятиям о надлежащем поведении и цивилизности, которые я постоянно нарушала. Но беспокойство лишь обостряло мой интерес к нему. Пожалуй, темой, которая его оживляла, предметом, который сообщал некую теплоту его манере говорить, был советский коммунизм. Макса можно было назвать классическим солдатом «холодной войны». Тогда как иные противники коммунизма говорили о своем отвращении и впадали в ярость, Макс полагал, что благие намерения в сочетании с неизменной человеческой природой привели целые народы к ужасающей трагедии и неизбежной западне. Фатальным образом права на счастье и личный успех оказались лишены сотни миллионов человек во всей советской империи. Никто, включая руководителей советского государства, не избрал бы для себя такое будущее. Поэтому выход необходимо было искать в переговорах, не теряя лица, в терпеливом убеждении и укреплении доверия, но при этом твердо оппонировав чудовищной идее, как он ее называл.

О его личной жизни я, конечно, не осмеливалась спросить. Интересно, думала я, живет ли с ним в Эгеме любовник. Мне даже хотелось съездить туда и посмотреть своими глазами, вот как далеко все зашло. Конечно, предположение о его нестандартной ориентации не добавляло мне оптимизма. Но я думала и о том, способен ли Макс, подобно Джереми, доставить женщине удовольствие, не получая его самому, пусть не идеальное, не взаимное удовольствие, но этого, как мне казалось, было бы достаточно, это было бы лучше, чем пустая тоска.

Однажды вечером после работы мы шли по парку. Разговор вертелся вокруг Временной ИРА[9 - «Временная Ирландская республиканская армия»

(«Временная ИРА») – организация, ставящая целью достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Создана в 1969 году в результате раскола в ИРА на «Временную» и «Официальную».] – я предполагала, что у него есть некоторые сведения об этом предмете изнутри. Он говорил о недавно прочитанной статье, и тут, повинувшись порыву, я взяла его за руку и спросила, хочет ли он поцеловать меня.

– По правде говоря, я об этом не думал.

– А мне бы хотелось, чтобы ты меня поцеловал.

Мы остановились посреди дорожки между деревьями, вынуждая людей нас огибать. Поцелуй был длительный и страстный (или он играл?). Быть может, он маскировал отсутствие желания. Когда он отстранился, я попыталась снова притянуть его к себе, но он мне не позволил.

– Ну полно, полно, – сказал он, дотронувшись до кончика моего носа указательным пальцем, как строгий отец, говорящий с капризным ребенком. Я ему подыграла, соорудив обиженную гримаску, и смиренно вложила свою руку в его. Мы пошли дальше. Я знала, что этот поцелуй все для меня усложнит, но, по крайней мере, мы впервые держались за руки. Спустя несколько минут он отнял руку.

Мы сели на траву подальше от людей и вернулись к вопросу об ирландских боевиках. В прошлом месяце в Уайтхолле и Скотланд-Ярде обнаружили заложенные бомбы. Наше ведомство находилось в процессе реорганизации. Наиболее перспективных представителей нашего набора, включая Шерли, перевели из нашей «ясельной» канцелярии на более ответственные задания. Люди меняли кабинеты. Заседания за закрытыми дверями продолжались допоздна. Я тем временем плелась в хвосте. Свое разочарование я донесла до Макса, посетовав, уже не в первый раз, на то, что мы сражаемся в прошлых войнах. Безусловно, лекции замечательны, но с тем же успехом можно учить мертвый язык. Я утверждала, что мир разделен на два лагеря, и с этим ничего не поделаешь. У советского коммунизма было теперь не больше миссионерской лихорадки и стремления к экспансии, чем, скажем, у англиканской церкви. Репрессивная советская империя была изъедена коррупцией и находилась в коматозном состоянии. Новой угрозой становился терроризм. Я читала статью в свежем выпуске журнала «Тайм» и считала себя хорошо подготовленной. Речь шла не только о Временной ИРА или о различных палестинских группировках.

Подпольные анархистские и леворадикальные группировки в континентальной Европе уже совершали теракты, закладывали бомбы, похищали политиков и бизнесменов. «Красные бригады» и банда Баадера – Майнхоф[10 - Она же Фракция Красной Армии (РАФ) – леворадикальная террористическая организация городских партизан в ФРГ и Западном Берлине. На ее счету 34 убийства, банковские налеты, взрывы учреждений (1968–1998 гг.)]; «Тупамарос»[11 - «Тупамарос», или Движение национального освобождения, – леворадикальная уругвайская организация, в 1960—1970-е годы применявшая тактику «городской герильи».] и бесчисленное множество других группировок в Южной Америке; в США – Симбионистская армия освобождения[12 - Симбионистская армия освобождения – леворадикальная партизанская организация, действовавшая в США в период с 1973 по 1975 год.]. Эти кровожадные и самовлюбленные нигилисты хорошо организованы, налаживают связь через границы и вскоре доберутся до Великобритании. Мы уже познакомились с «Бригадой гнева»[13 - «Бригада гнева» – маленькая террористическая группировка, произведшая 25 взрывов в Британии в 1970–1972 годы. Дело по большей части свелось к порче имущества. Один человек был ранен.], и следовало ожидать, что ситуация будет только ухудшаться. Зачем тратить львиную долю ресурсов на игру в «кошки-мышки» с никому не нужными типами, служащими в советских торговых представительствах?

Львиную долю ресурсов? Что обычный стажер может знать об ассигнованиях внутри нашего ведомства? Тем не менее я пыталась говорить уверенно и со знанием дела. Меня взволновал поцелуй, и я хотела произвести на Макса впечатление. Он пристально на меня смотрел, терпеливо улыбаясь.

– Я рад, что ты не забыла свои ужасные дробы. Но пойми, Сирина, только в позапрошлом году мы вышвырнули из страны сто пять советских агентов. Они ползали по нас, как вши. Конторе пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы убедить Уайтхолл действовать решительно, и это было нашей победой. Ходили слухи, что особенно трудно было привлечь на нашу сторону министра внутренних дел.

– Он дружил с Тони, пока они не...

– Все началось с дезертирства Олега Лялина. Предполагалось, что он будет отвечать за проведение актов саботажа при наступлении кризиса в Великобритании. Об этом говорилось в докладе парламентской комиссии.

Должно быть, ты об этом читала.

– Да, я помню.

Конечно же, я ничего не помнила. Новости о советских шпионах прошли мимо моей колонки в «?Квис?». Рядом со мной еще не было Тони, вынуждавшего меня читать газеты.

– Я хочу лишь сказать, что Советы не стоит считать коматозными, верно?

Он все еще смотрел на меня как-то по-особому, будто ожидая, что наш разговор перейдет на очень серьезные предметы.

– Наверное, не стоит.

Мне было не по себе, тем более потому, что он, казалось, хотел поставить меня в неудобное положение. Наша дружба возникла так недавно и так скоро. Я ничего о нем не знала, и теперь Макс вдруг показался мне незнакомцем – его чересчур большие уши походили на направленные на меня локаторы, настроенные уловить даже слабый шепот, тонкое лицо было напряжено, глаза смотрели на меня испытующе. Я беспокоилась, что он чего-то от меня хочет и что, даже если он получит желаемое, я не пойму, что это было.

– Хочешь, я поцелую тебя снова.

Этот второй поцелуй – поцелуй незнакомца – был таким же долгим, как и первый, но и более сладким, раз уж разрядил возникшее между нами напряжение. Я расслабилась, чуть не растаяла, как персонажи любовных романов. Я не допускала и мысли, что он притворяется.

Он отстранился и тихо спросил:

– Каннинг когда-нибудь упоминал при тебе Лялина? – Прежде чем я успела ответить, он поцеловал меня снова, скользнув по моим губам своими. Мне хотелось сказать «да», потому что он этого ждал.

– Нет, никогда. А почему ты спрашиваешь?

- Просто любопытно. Он представил тебя Модлингу?

- Нет. А что?

- Мне были бы интересны твои впечатления, вот и все.

Мы снова поцеловались. Мы полулежали на траве. Моя рука покоилась у него на бедре, и я скользнула ладонью к его чреслам. Мне хотелось понять, действительно ли я его возбуждаю. Только бы он не оказался талантливым актером. Я чуть было не дотронулась кончиками пальцев до затвердевшего свидетельства его чувств, когда он увернулся, резко поднялся, а потом нагнулся, чтобы снять с брюк несколько засохших травинок. Этот жест показался мне неестественным. Он протянул мне руку и помог подняться.

- Мне нужно спешить на поезд. Я пригласил к себе друга и готовлю для нас двоих обед.

- Вот оно как.

Мы зашагали по аллее. Он различил в моем голосе нотку враждебности и примирительно дотронулся до моего рукава, будто извинялся.

- Ты ездила на Кумлинге, на его могилу?

- Нет.

- А некролог читала?

Из-за его «друга» наш вечер не сулил ничего примечательного.

- Да.

- Он был опубликован в «Таймс» или в «Телеграф»?

- Макс, ты меня допрашиваешь?

- Не говори глупостей. Просто я страшно любопытен. Прости меня, пожалуйста.

- Тогда оставь меня в покое.

Мы продолжали путь в тишине. Он не знал, о чем говорить. Единственный ребенок, закрытая школа для мальчиков – он не умел говорить с женщинами, когда дела шли скверно. А я молчала. Я была зла, но и не хотела оттолкнуть его. К тому времени, как мы готовы были расстаться на дорожке у ограды парка, я почти успокоилась.

- Сирина, ты понимаешь, что я очень к тебе привязался.

Мне было приятно, мне было очень приятно, но я не подала виду и снова промолчала, ожидая его хода. Он будто замер в нерешительности, а потом сменил тему.

- Кстати, не будь так нетерпелива в вопросах службы. Мне известно, что скоро начнется действительно интересное дело. «Сластена». Как раз по твоей части. Я замолвил за тебя словечко.

Он не стал дожидаться ответа. Слабо улыбнулся, пожал плечами и зашагал прочь по Парк-лейн в сторону Мраморной арки, а я стояла, провожая его взглядом, и гадала, сказал ли он правду.

5

Моя комната на Сент-Огастинс-роуд выходила на северную сторону; под окнами рос конский каштан, и его ветви заслоняли вид на улицу. Весной, когда дерево покрылось листвой, в комнате с каждым днем становилось темнее. Кровать, которая занимала половину комнаты, представляла собой весьма шаткий предмет обстановки с изголовьем, лакированным под орех, и матрасом, в который можно было провалиться, как в трясины. К кровати прилагалось старое желтое покрывало с вышивкой. Пару раз я носила его в прачечную, но так до конца и не избавилась от въевшегося запаха прежнего владельца – пса или, быть может, очень несчастного человека. Единственным дополнительным

предметом обстановки был комод и над ним – скошенное фацетное зеркало. Комод стоял перед миниатюрным камином, из которого в теплые дни исходил кисловатый запах сажи. В пасмурные дни из-за цветущего каштана мне не хватало естественного освещения, и поэтому я купила за тридцать пенсов лампу (в стиле ар-деко) у старьевщика на Камден-роуд. Через день я вернулась к нему и заплатила фунт и двадцать пенсов за маленькое приземистое кресло, чтобы иметь возможность читать сидя. Старьевщик на спине донес мне кресло до дому, а идти было почти полкилометра, и поднял его по двум маршам лестницы на этаж, все это за цену пинты пива – тринадцать пенсов. Но я дала ему пятнадцать.

Большинство домов на моей улице были поделены на клетушки и еще не прошли «модернизацию», хотя я не помню, чтобы тогда кто-то использовал это слово или рассуждал в подобных понятиях. Отопление было электрическим, полы в коридорах и на кухне устилал старый коричневый линолеум, а в комнатах лежало цветастое ковровое покрытие, казавшееся липким. Наверное, единственный, очень поверхностный ремонт был произведен в двадцатые или тридцатые: провода в пыльных кожухах были привинчены к стенам; в продуваемом коридоре располагался телефон; погружаемый электрический нагреватель доводил воду почти до кипения в крошечной ванне без душа, которой пользовались мы, четыре женщины. Эти дома тогда еще не преодолели наследия викторианской сумеречности, но мне кажется, никто не жаловался. Насколько я помню, даже в семидесятые годы простые горожане, которые жили в этих старых домах, только начинали подумывать о том, что им, возможно, целесообразнее перебраться за город, если лондонские цены продолжат расти. Дома в переулках Камден-тауна ожидали прихода нового энергичного класса, который, в конце концов, в них и въехал, установил радиаторы и по совершенно необъяснимым причинам полностью избавился от плинтусов соснового дерева, от паркета, а также от всех дверей, все еще сохранявших намеки на краску или лепнину.

С соседками мне повезло. Полина, Бриджет и Трисия – три девушки из рабочих семей, приехавшие в Лондон из Сток-он-Трента, знавшие друг друга с детства, вместе сдавшие все школьные экзамены и каким-то образом одновременно очутившиеся на юридическом факультете, – уже заканчивали образование. Были они девушки скучные, честолюбивые и до ужаса чистоплотные. В квартире всегда было чисто, кухня вычищена и выдраена. Небольшой холодильник заполнен продуктами. Если у них и были парни, я никогда их не видела. Ни пьянства, ни наркотиков, ни громкой музыки. В то время было гораздо вероятнее встретиться в съемной квартире с людьми, подобными моей сестре. Трисия

училась на адвоката, Полина специализировалась в акционерном законодательстве, а Бриджет намеревалась заниматься имущественным правом. Они, каждая в отдельности и по-разному, успели мне сообщить, что никогда не вернутся в родной город. О Стоке они говорили не только в географических терминах. Однако я не выпрашивала подробности. Я пыталась приспособиться к новой работе и не слишком интересовалась их классовой борьбой или стремлением подняться в социальном лифте. Они считали, что я – скучная госслужащая, а я думала, что они – скучные начинающие юристки. Замечательно. У нас была совершенно разная жизнь, и мы редко ели вместе. Никто не проводил время в гостиной – единственной уютной комнате. Даже телевизор по большей части оставался выключенным. По вечерам они занимались в своих комнатах, а я читала в своей или ходила гулять с Шерли.

Я по-прежнему проглатывала три или четыре книги в неделю. В тот год – в основном современную литературу в мягких обложках: книжки я покупала в букинистических магазинах на Хай-стрит или, если полагала, что могу себе это позволить, в «Компендиуме» близ Камден-лока. Как и раньше, с жадностью набрасывалась на новую книгу, но теперь в чтении появилась некая скука, с которой я безуспешно пыталась справиться. Всякий, кто застал бы меня за чтением, мог подумать, что я листаю справочник, если учесть, с какой скоростью я переворачивала страницы. Наверное, я действительно искала что-то, кого-то, версию самой себя, героиню, в которую я могла бы влезть, как в старые удобные туфли. Или дорогую шелковую блузку. Можно сказать, что я искала лучшую себя – не девушку, уныло склонившуюся по вечерам в кресле от старьевщика над книгой с помятой бумажной обложкой, но быструю молодую женщину, открывающую пассажирскую дверь спортивного автомобиля, нагибающуюся, чтобы получить поцелуй любовника, уносящуюся на скорости в загородное гнездышко. Я не готова была себе в этом сознаться, но, по правде говоря, раньше читала довольно низкопробную литературу, почти бульварные романы. Наконец, мне удалось развить в себе некий вкус или снобизм – то ли благодаря Кембриджу, то ли под влиянием Тони. Я перестала говорить, что Жаклин Сьюзан пишет лучше Джейн Остен. Иногда мое альтер эго поблескивало между строк или наплывало на меня, как благожелательный призрак, со страниц Дорис Лессинг, или Маргарет Дрэбл, или Айрис Мердок. Затем видение исчезало – литературные версии моего «я» были слишком образованными, или умными, или недостаточно одинокими. Полагаю, что я была бы удовлетворена, только взяв в руки роман о девушке в комнатухе, расположенной в лондонском Камдене, девушке, которая занимает низкооплачиваемую должность в МИ-5 и тоскует без мужчины.

Можно сказать, что я была поклонницей наивного реализма. Я обращала особое внимание на те фразы, где упоминалась известная мне лондонская улица или знакомый фасон платья, действующий политик или даже модель автомобиля. Тогда, казалось мне, я получала некую шкалу, то есть способность измерить качество произведения по его достоверности, по тому, в какой мере оно сочетается с моими собственными впечатлениями или, напротив, обогащает их. На мое счастье, бо́льшая часть английской литературы того времени была написана в форме непритязательной социальной документалистики. Меня не впечатляли те писатели (их было множество как в Южной, так и в Северной Америке), которые бродили по страницам собственных книг, как часть актерской труппы, очевидно, стремясь напомнить несчастному читателю, что все персонажи и даже они сами – не более чем выдумка и что между литературой и жизнью лежит пропасть, или, напротив, стремились подчеркнуть, что жизнь – это и есть литература. Лично мне казалось, что только писатели путают литературу с жизнью. Я обладала прирожденной тягой к опытному восприятию. Я считала, что писателям платят за то, чтобы они строили правдоподобные миры и, при возможности, использовали такие детали и подробности реального мира, чтобы это сообщало их сочинениям правдоподобие. Поэтому автору не стоило трюкачествовать с пределами искусства или выказывать недоверие или неуважение читателю, пересекая в различных маскарадных костюмах границы воображаемого. Книги не место для двойных агентов, полагала я. В тот год я попыталась прочесть и отбросила авторов, которых навязывали мне утонченные кембриджские друзья, – Борхеса и Барта, Пинчона, Кортасара и Геддиса. Ни одного англичанина и ни одной женщины! Я была будто человек поколения собственных родителей, не только не любивших вкус и запах чеснока, но и с недоверием относившихся к тем, кто ест чеснок.

В лето нашей любви Тони Каннинг нередко выговаривал мне, что я оставляла книжки лежать раскрытыми, страницами вниз. Это портило корешок, и потом книга внезапно открывалась на определенной странице, что было случайным и дерзким вторжением в область писательских намерений и читательских суждений. Тогда же он подарил мне закладку. Подарок был не ахти какой: Тони, должно быть, нашел ее где-то у себя в ящиках. Закладка представляла собой полоску зеленой кожи с зубчатыми концами и названием какого-то валлийского замка или крепости золотыми тисненными буквами. Это был сувенир из лавки, наверное, восходивший к тому времени, когда он и его жена были счастливы, или, по крайней мере, достаточно счастливы, чтобы куда-то ездить вместе. Мне эта закладка была безразлична, даже немного неприятна. Язычок кожи, столь коварно говоривший о другой, дальней жизни Тони, в которой мне не было места. Мне кажется, я ее тогда даже не использовала. Я стала запоминать

номера страниц и перестала портить корешки. Спустя несколько месяцев после расставания я нашла закладку, скрученную и липкую от шоколада, на дне своей спортивной сумки.

Я говорила, что после его смерти у меня не осталось никаких знаков нашей любви, но у меня была его закладка. Я ее очистила, распрямила и стала использовать. Говорят, у писателей есть свои суеверия и небольшие ритуалы. Так же и у читателей. Мой обряд состоял в том, чтобы во время чтения держать закладку в руке и поглаживать ее большим пальцем. Поздно вечером, когда приходила пора отложить книгу, я дотрагивалась до закладки губами, клала между страницами, закрывала книгу и оставляла ее на полу у кресла, в пределах досягаемости. Я думаю, Тони бы это понравилось.

Однажды вечером в начале мая, больше чем через неделю после наших первых поцелуев, мы с Максом дольше обычного задержались на Беркли-сквер. Он был в тот день очень общителен и рассказал о каких-то часах XVIII века, о которых подумывал как-нибудь написать. К тому времени, как я вернулась на Сент-Огастинс-роуд, дом был погружен в темноту. Мне вспомнилось, что это был второй день какого-то официального праздника. Полина, Бриджет и Трисия, несмотря на все инвективы в адрес родного города, отбыли в Сток на длинные выходные. Я зажгла свет в коридоре и проходе на кухню, заперла на засов входную дверь и пошла к себе в комнату. Внезапно мне стало тоскливо и тревожно без трио здравомыслящих северянок и без клинышков света, выбивавшихся из-под дверей их комнат. Но я всегда прислушиваюсь к голосу здравого смысла, у меня нет страхов перед сверхъестественным, я презираю разговоры об интуитивном знании и шестом чувстве. Учащенный пульс, сердцебиение, говорила я себе, происходят от того, что я быстро взбежала по ступенькам. Все же, когда я подошла к своей двери, то прежде, чем зажечь свет, замерла на пороге; наверное, меня остановило легкое беспокойство, чувство, что я одна в большом старом доме. За месяц до того на Камден-сквер тридцатилетний шизофреник напал на человека с ножом. Я была уверена, что в доме нет посторонних, но слухи о подобных убийствах действуют на рассудок, и мы даже не отдаем себе в этом отчета. Чувства обостряются. Я стояла молча, прислушиваясь к темноте, так что сквозь звенящую тишину до меня доносился приглушенный шум города и, ближе, потрескивание стен, остывающих в прохладном ночном воздухе.

Я дотянулась до бакелитового выключателя и тотчас увидела при свете лампы, что все вещи на своих местах, или так мне показалось. Я вошла и положила на

пол сумку. Книга, которую я читала накануне вечером – «Есть людей нехорошо» Малькольма Брэдбери, – лежала на полу у кресла. Однако закладка теперь оказалась на сиденье кресла, а с тех пор, как я утром ушла на работу, в доме никого не должно было быть.

Естественно, мне подумалось, что накануне вечером я изменила привычке, такое случается, если вы устали. Я могла встать и случайно выронить закладку, когда направлялась в ванную. Однако я все отлично помнила. Роман был достаточно коротким, и я намеревалась одолеть его за два вечера. Но глаза у меня слипались, я не дочитала и до половины, а потом поцеловала клочок кожи и заложила его между страницей 98-й и 99-й. Я даже помнила последнюю фразу, потому что прочла ее дважды, прежде чем закрыть книгу. Это была строчка из диалога. «По своим взглядам интеллигенты вовсе не обязательно либералы».

Обыскивая комнату, я попыталась определить другие признаки вторжения. Так как жила я без книжных полок, книги лежали в стопках, прислоненные к стене: в одной стопке были прочитанные книги, а в другой – непрочитанные. На самом верху второй стопки лежал роман А. С. Байетт «Игра». Все в порядке. Я исследовала комод, сумку с бельем, ощупала кровать, посмотрела под кроватью – ничто не пропало и не было сдвинуто с места. Я вернулась к креслу и довольно долго пялилась на него, будто это могло способствовать отгадке. Я знала, что мне нужно сходить вниз и попытаться обнаружить следы взлома, но не хотелось этого делать. Название романа Брэдбери, попавшееся мне на глаза, казалось теперь бесплодным протестом против установившейся в мире этики. Я взяла книгу в руки и быстро пролистав до страницы, на которой остановилась. На лестничной площадке я перегнулась через перила, не услышала ничего подозрительного, но все же не осмелилась спуститься вниз.

На моей двери не было замка или щеколды. Я подвинула к двери комод и легла в постель с включенным светом. Большую часть ночи я пролежала на спине, укрывшись одеялом до подбородка, прислушиваясь, думая об одном и том же, ожидая, что рассвет, как ласковая мать, принесет мне утешение. Так и случилось. При первых признаках рассвета я убедила себя, что это усталость затуманила мне память, что намерения я путала с действием и что книгу я отложила без закладки. Я пугала себя собственной тенью. Дневной свет показался мне физическим отображением здравого смысла. Мне нужно было отдохнуть, потому что наутро нам предстояло присутствовать на важной лекции, во всяком случае, загадка с закладкой достаточно меня утомила, так что я заснула и проспала два с половиной часа до звонка будильника.

На следующий день я получила от МИ-5 двойку или, точнее, я получила ее стараниями Шерли Шиллинг. Характер у меня такой, что иногда я могу высказать все, что у меня на уме, и все же основным моим стимулом было стремление заслужить одобрение начальства. В Шерли, напротив, было что-то драчливое, даже безрассудное. Черта, совершенно мне чуждая. Но, в конце концов, мы были дуэтом, Лорелом и Харди, так что вполне объяснимо то, что я попала в орбиту ее петушиного характера, а значит, вполне могла нести с ней солидарную ответственность за проступки.

Все случилось в тот день, когда в Леконфилд-хаусе мы слушали лекцию под названием «Экономическая анархия, гражданское неповиновение». Зал заседаний был полон. По негласному правилу, когда к нам приезжал именитый лектор, сотрудники рассаживались согласно должностному положению. В первом ряду сидели гранды с пятого этажа, через три ряда виднелись Гарри Тапп и сидевшая рядом с ним Милли Тримменгем, еще через два ряда сидел Макс, беседовавший с человеком, которого я не знала. Затем стройными рядами располагались дамы рангом ниже помощника референта, и, наконец, на последней скамье сидели двоечницы, Шерли и я. У меня, по крайней мере, на коленях был блокнот.

Директор выступил на шаг вперед и представил приглашенного лектора – бригадира, обладавшего большим опытом противоповстанческих действий, а в настоящее время выступавшего в роли консультанта нашей службы. Военному похлопали. Лектор говорил в несколько отрывистой манере, которую сегодня мы отождествляем со старыми британскими кинофильмами и радиокomentаторами сороковых годов. У нас в ведомстве тоже еще работали пожилые сотрудники, излучавшие суровую серьезность, происходившую из опыта длительной тотальной войны.

Впрочем, бригадир питал слабость к цветистым фразам. Ему было известно, что в зале присутствует немало армейских офицеров в отставке; он попросил у них прощения за то, что будет излагать факты, хорошо известные им, но, возможно, не другим сотрудникам. А первый из этих фактов состоял в том, что наши солдаты вели войну, но ни один политик не смел ее так назвать.

Военнослужащие, отправленные в Северную Ирландию для разделения враждующих фракций, объятых темной и древней межконфессиональной ненавистью, – наши военнослужащие подвергались нападению с обеих сторон. Правила применения оружия были таковы, что подготовленные солдаты не

могли реагировать на насилие соответствующим образом. Девятнадцатилетние солдатики из Нортумберленда или Суррея, которые некогда думали, что их миссия состоит в защите католического меньшинства от протестантов, лежали, истекая кровью, лишенные будущего, лишенные жизни, в водосточных канавах Белфаста и Дерри, тогда как дети и подростки, подонки из католических семей, измывались над ними и ликовали. Британские военнослужащие погибали под снайперским огнем, часто исходившим из многоквартирных высотных домов – причем снайперы ИРА не раз работали под прикрытием скоординированных уличных беспорядков. Что касается прошлогоднего «Кровавого воскресенья»[14 - «Кровавое воскресенье» – расстрел британской армией мирной демонстрации в североирландском городе Дерри 30 января 1972 года, приведший к вспышке насилия.]

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Подразумеваются «Барнардовские приюты» – приюты для беспризорных и бездомных детей, названные в честь их основателя Томаса Барнардо.

2

В рамках подхода порождающей грамматики формируется система правил, при помощи которых можно определить, какая система слов оформляет

грамматически неправильное предложение.

3

На траве (фр.).

4

Истребитель ВВС Великобритании времен Второй мировой войны.

5

Битва при Азенкуре – эпизод Столетней войны: битва английских и французских войск близ коммуны Азенкур в Северной Франции 25 октября 1415 года.

6

Божественное право королей – доктрина, согласно которой монархия имеет божественное происхождение и, следовательно, наследственное право нельзя отменить. Была распространена в средневековой Европе.

7

Твигги – британская супермодель; Кит Ричардс – английский гитарист, выступавший в составе группы «Роллинг Стоунз»; Бобби Мур – английский футболист.

8

Управление специальных операций – британская диверсионно-разведывательная служба времен Второй мировой войны.

9

«Временная Ирландская республиканская армия» («Временная ИРА») – организация, ставящая целью достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства. Создана в 1969 году в результате раскола в ИРА на «Временную» и «Официальную».

10

Она же Фракция Красной Армии (РАФ) – леворадикальная террористическая организация городских партизан в ФРГ и Западном Берлине. На ее счету 34 убийства, банковские налеты, взрывы учреждений (1968–1998 гг.).

11

«Тупамарос», или Движение национального освобождения, – леворадикальная уругвайская организация, в 1960—1970-е годы применявшая тактику «городской герильи».

12

Симбионистская армия освобождения – леворадикальная партизанская организация, действовавшая в США в период с 1973 по 1975 год.

13

«Бригада гнева» – маленькая террористическая группировка, произведшая 25 взрывов в Британии в 1970–1972 годы. Дело по большей части свелось к порче имущества. Один человек был ранен.

14

«Кровавое воскресенье» – расстрел британской армией мирной демонстрации в североирландском городе Дерри 30 января 1972 года, приведший к вспышке насилия.

Купить: <https://telnovel.me/ien-makyuen/slastena-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)